

Константин Николаевич Леонтьев

Лето на хуторе

Константин Леонтьев

Лето на хуторе[1]

повесть

Д.Д. Высоцкой

I

В том самом месте, где речка (сажен 20, Впрочем, шириною), пробежав мимо села и капустников, разливается на два рукава, стоит тот хорошенький хуторок, на котором мне так хочется отвести глаза. И стоит на него посмотреть, особенно человеку, не избалованному картинностью природы. Противоположный берег очень крут, и на нем во всю вышину разрослись березы, а на верху обрыва прекрасный луг на несколько верст в ширину и длину. Из окон на хуторе все видно, когда кто-нибудь едет в телеге или верхом по противоположному берегу; только местах в пяти застыт березки.

Рукав начинается на правом берегу, обросшем лозником и жирной травой, против самой тропинки, протоптанной на обрыве; тут

выходит в реку песчаная коса, и над ней-то возвышается строение, в котором уж шестой год живет деревенский портной, Михаиле Григорьев, и дочка его, Маша, с такими глазами, что и цвета их нельзя определить: днем кажутся они серыми, а когда придет вечер, они станут как черный бархат. На хуторе скотником назначен муж родной племянницы Михаила Григорьевича, Степан, черноволосый мужик, очень большого роста и весьма добродушный нравом. Он женат уж давно и прижил четырех детей; жена его, Алена, хотя и косит немного свои карие глаза, но свежа, румяна и очень моложава. Степан, которого я не без основания называл мужиком, был, однако ж, из дворовых, именно сын скотника, но ходил он совсем по-русски и по праздникам, летом, носил рубашки из красного ситца с белыми, дикими и черными разводами, которые очень шли к его лицу, южному и цветом, и очертаниями.

Ему было тогда только двадцать лет, и он отличался высоким ростом, силой и имел очень легкомысленный и обольстительный вид, когда надевал свою красную рубашку, за-

ламывал набок поярковую шляпу с бархатками и пряжками и выходил на торг, наигрывая на гармонии, покачиваясь и улыбаясь. Однако все его легкомыслие вполне удовлетворялось игрой на гармонии и притопыванием, когда молодые девки водили хоровод. Отцу он был очень послушен, набожен и несмел с женщинами. Только, видно, от судьбы своей и ему не удалось уйти. Алену никто не замечал на дворе; она находилась при низших должностях в хоробах и большую часть своего молодого времени проводила в вязаньи чулок и карпеток. Но у нее был врожденный вкус, и она предпочла высокого черноволосого молодца всем худощавым и сладкоречивым ловласам в немецких платьях, которые наезжали к ним летом из Москвы и Петербурга. Степан ухмылялся, стыдился как будто; но, оставаясь наедине с нею под вечерок, вовсе не чувствовал никакого неудовольствия, когда Аленушка, слегка скосившись, брала тихонько его руку и примеряла ему свои кольца, или снимала с него шляпу и вертела ее долго в руках, что-то мурлыкая про себя.

Он обыкновенно говорил в таком случае, протягивая руку:

— Что ты шляпу сняла?., нехорошо так, простоволосому... а? Алена? а? право слово, шляпу взяла...

Однако раз случилось, что они так-то сидели вечером при лунном свете и он потянулся за шляпой, да, вместо шляпы, попал рукой к ней на плечо, покрытое красивой холстинкой. И хотя рука его была довольно тяжела, однако Алена не пошевелинулась — и так они просидели с час, пока она, вздохнув, не сказала:

— Пойду в людскую; небось ужинать сели. А он отвечал:

— Дай-ка шляпу-то... Ишь ты, пряжку-то куда сдвинула! ..

Она пошла, а он стоял на одном месте и смотрел ей вслед, запустив одну руку за пояс, а другой поправляя на плече свой новый серый кафтан, и смотрел до тех пор ей вслед, пока она, взойдя на крыльцо людской и с размаху ударив обеими руками в тяжелую дверь, не вогнала ее вовнутрь и не скрылась за нею. Тогда он произнес, потряхнув кудрями: «Экая

гладкая!» — и ушел домой.

Потом их женили. Потом барыня передала управление сыну; сын построил на мысу Петровский Хутор, по случаю хороших соседственных пустошей, и заблагорассудил назначить скотником туда Степана, как опытного человека в деле скотоводства и смирного, послушного малого. К тому же прикащик не без основания заметил, что и Алена едва ли будет не полезнее своего мужа на хуторе, потому что она очень любит скотину, работяща и даже подчас лечит коров. Последнее было справедливо только по видимым результатам. Правда, Алена дала однажды какой-то травы одной заскучавшей корове, но трава и предписание как действовать пришли к ней от родного дяди ее, Михаила Григорьева, который за ремеслом портного скрывал еще и другие, более блестящие таланты. Никто почти не знал о его склонности к врачеванию до той поры, когда он, при удобном случае, открыл свое знание. Случай этот был вот какой. Сын их барыни, человек лет тридцати, приехал из Петербурга и цвел необыкновенным здоровьем; но здоровье это, видно, было из-

лишнее, и однажды, после ужина, богатого мясом и винами, он почувствовал себя так плохо, что упал на кровать. Другие увидели тоже, что плохо, потому что он весь посинел, и послали за доктором, который жил в 20 верстах. Барыня приказала нестись во весь дух! Пока коляска неслась по большой дороге довольно грустно, благодаря обманчивому бегу лошадей и любви к ним кучера, мать и приближенные обступили кровать с искренним ужасом. Барин был любим... В эту тяжелую минуту вошел в спальню Михайло, нетвердою поступью приблизился к больному и, два раза откашлянувшись за рукой, спросил у барыни позволения пустить кровь из руки у Петра Васильевича...

— А то ведь это удар, — прибавил он более тонким голосом, желая придать ему убедительность.

Мать была дама решительная и быстро произнесла:

— Пускай, Михайло, ради Бога, пускай!

Михайло сначала оробел барских слов, но потом ободрился, кашлянул опять в сторону и принялся пускать.

Вот как он пускал: сперва вынул из кармана настоящий ланцет и, завернув на мускулистой руке больного рукав рубашки, перекрестился; потом приложил ланцет, да как пустит — все так и ахнули! Мало того, что выпустил три чашки крови из руки, он еще приставил ему в самые ноздри двух пиявок, делал и еще что-то — и через полчаса Петр Васильевич задышал гораздо свободнее. Барыня тут же дала Михайле красную депозитку и сказала:

— Ну, Миша, Бог тебя награди, а я уж не забуду!

К рассвету приехал доктор из уездного города и, поглядев на пациента, объявил, что он спасен, и похвалил Михайла за находчивость.

Михайло прищурился, поклонился ему и, загородясь, по обыкновению, рукой, кашлянул.

Доктор постоял, покачал головой, накушался кофе, взял пять рублей серебром и уехал.

Когда утром Михайло скромно проходил через прихожую, дворецкий не выдержал и,

передернув плечами, воскликнул:

— Эй, ты, дохтур! а дохтур! приди-ко, брат, ко мне чай пить ужо... Вот что! у меня... у жены что-то все зубы болят, дохтур.

Потом дворецкий обратился к стоявшим тут людям и сказал им:

— Зубы!... уж который день. А он вон кровь пускает!

На это люди ничего не отвечали, а только один из них, махнув головой кверху, сделал: гхе! и остался минут на пять с раскрытым ртом.

Михаиле пошел к дворецкому чай пить только по второму зову, дал жене его какой-то настойки и потом целый день, как ни в чем не бывал, стегал себе на своем катке.

Только через два дня обнаружили в нем припадки самолюбия. Раз, после обеда, он стал очень весел лицом, чаще кашлял и, явившись на большой двор без шапки, заложил руки за спину и долго ходил взад и вперед по двору, изредка поглядывая на окна хором и улыбаясь.

Никто не мог уговорить его уйти спать, а строгих мер госпожа не приказала употреб-

лять с ним; и он ходил до тех пор, пока Алена, его племянница, которая в то время только что стала женой Степана, не пришла на господский двор и не сказала дяде:

— Дядюшка, пойдите спать! Барыня вам велит идти спать...

— Барыня? — спросил Михайло, — врешь ты... Где ты барыню видела?

— Сейчас была у нее, полотно относила. А она и говорит: «Скажи дяде, чтоб он ушел; если он уйдет, я буду у тебя крестить»...

Михайло немедленно ушел.

Хитрая Алена и не думала носить полотно. Она знала, что дядя хочет, чтоб барыня крестила будущего ребенка, и потому солгала, чтоб спасти его от господского гнева.

Она принесла себе этим немало пользы: с одной стороны, приобрела окончательное уважение дяди; протрезвившийся Михайло, выпросив у барыни прощенье, поблагодарил ее за милость, которую она оказывает сироте, его племяннице, тем, что собирается крестить у нее перворожденного младенца.

Барыня знала уже про штуку Алены и обещала непременно крестить, присовокупив,

что племянница у него прехитрая.

Михаиле» и сам узнал, в чем дело, и целый день твердил, сидя на катке:

— Эка баба! эко зелье! Вся в меня пошла!...

Другое благоволение было со стороны бабырыни, которой вовсе не хотелось, чтоб Михаиле своим непослушанием извлек из сердца ее благодарность. И, наконец, третья выгода была со стороны мужа, Степана. Степан, который и тогда был сильно склонен к игре на гармонии и к красным рубашкам, даже гораздо более склонен к ним, чем к ходьбе за скотом, со всех сторон слыша про жену, предоставил ей совершенно бразды домашнего правления, и эта власть никогда, даже и после переселения на Петровский Хутор, не была нарушена.

Только раз случилась с ним оказия вроде михайловой. Он приехал домой из села не совсем приличный. Там, после долгой беседы с поваром Егором, который назвал его «зюзей» и «феклой», решил он потрясти влияние Алены. Возвратясь, он начал с того, что повесил на гвоздь кафтан и кушак, потом сел к столу и пригорюнился. Алена в это время сни-

мала с полки пустые крынки. Обернувшись и увидев мужа таким угрюмым, она подошла к нему и спросила с некоторой нежностью, которой она понабралась еще в барском доме:

— А что, Степаша? Али неможется?..

Степан покачал головой и, не говоря ни слова, стукнул кулаком по столу.

— Э! — воскликнула Алена, — да ты, Степаша, подгулял!.. Степан произнес отрывисто:

— Нет! А зачем ты всем распоряжаешься? Повар говорит, что ты голова, а не я!

— Вот замолол! — заключила Алена и пошла себе доить, только сарафан сзади покачивается.

Степан еще раз стукнул кулаком вслед ей и сказал:

— Да! зачем распоряжаешься? на то разве ты баба? Да! После этого он так крепко задумался над сказанным,

что Алена с детьми отужинала без него. На другой же день с рассветом все пошло старым порядком.

Между тем подвиг Михайлы стал известен многим, и многие вспомнили, что он и прежде помогал кой-кому. Один рассказывал,

что он в запрошлый великий пост давал каких-то капель старосте Акиму; другой говорил другое, и т. д. Помещица, разговаривая с сыном о его болезни и пособиях портного, вспомнила, что Михаиле ходил в продолжении семи или восьми лет по оброку и жил, как тогда ей сказывали, у одного очень хорошего лекаря в довольно дальнем, но немалом городе: тогда все стало яснее; и когда сам Михаиле был позван и спрошен тщательно о прошедшем, доверие к нему в доме окончательно утвердилось. Он признался, что доктор был очень добрый старик и многое показал ему, давал читать лечебники, подарил ему несколько своих тетрадок и часто хвалил его сметливость. Барыня, страдавшая от времени до времени печенью и еще кой-какими мелочными недугами, совершенно доверилась Михаиле, и он немало ее поддерживал.

Когда она умерла, сын и наследник ее призвал Михаила и сказал ему, что за тогдашнее спасение и за многое другое он отпускает его на волю вместе с малолетней дочерью и просит его назначить самому себе какую-нибудь награду, сообразную с здравым смыслом.

Михайло тотчас же попросил себе позволения построиться на его земле особым жильем, точно так, как отстроены все семейные дворовые люди. Барин подумал и согласился, спрашивая только: где же? Михайло изъявил желание жить на Петровском Хуторе вместе с племянницей и там же хотел иметь клочок земли для двора и огородика.

Так все и сделалось.

Между тем подрастала Маша: ей было уж тринадцать лет. Молодой барин, приехавший надолго в деревню, не забывал своего прежнего доктора. Часто, после обеда, ложился он на диван своего кабинета, закуривал сигару и посылал за Михайлой.

— Ну, что скажешь? — говорил он, лениво отряхая пепел.

Михаиле кашлял слегка, выражая этим свое почтение, и отвечал:

— Все слава Богу-с... Благодарение-с...

— Благодарение? — спрашивал барин. — Что ж? — лечил кого-нибудь?

— Нет, то есть сегодня-с никого не было. А вчера-с приходила старуха из Подлипок... Рихматизмы сильнейшие! Пластырь дал.

— Ну, и хорошо! А знаешь ли что? Дочка у тебя растет красавица — а? Михайло?

— Что это вы-с изволите говорить! Еще от полу-то недостаточно поднялась. Чувства, то есть, разума никакого нету.

— Что ж, ты любишь ее небось?

— Известно, своя плоть.

— Ну, да... А подрастет, так и жених найдется.

— Дело далекое-с! Конечно, у всякого человека своя планита есть, и вот хошь так, для примера, и в болезнях планиты, то есть звезды небесные, имеют действие свое на человека. У всякого, то есть, свое... оттудова все-с... Как они там расположены, так и человеку...

— Да где ты все это повичитал?

Но Михайло только улыбался, храня в тайне источники своих познаний и бессвязных для постороннего уха речей.

Барин приказывал ему говорить яснее и требовал каких-нибудь новых подробностей, каких-нибудь анекдотов насчет его пациентов, потом засыпал под восторженный шопот чудака, и доктор на цыпочках удалялся.

Вскоре, однако, и для Маши звезда засвети-

ла поярче.

Приехали к Петру Васильевичу из Москвы родные: двоюродный брат с женой и детьми.

Молодая кузина была веселое существо, беспрестанно бегала всюду, все рассматривала и всем восхищалась в прекрасно устроенном имении Петра Васильевича.

— *Quelle charmante enfant!* — воскликнула она, встретив Машу в саду. — Пойди сюда, душенька... Какая ты хорошенькая! Хочешь ты ко мне служить? Я добрая.

— Хочу-с.

— Кто твой отец? чья ты?

— Михайлина-с.

— Так ты вольная? — Да-с.

— Так хочешь ко мне?

— Хочу-с.

Позови ко мне своего отца, я с ним поговорю... Вот тебе конфетка...

Михаиле с радостью согласился отпустить дочь в Москву, в богатый дом, и низко поклонился молодой даме.

Через две недели Маша покинула родину; и когда, через четыре года, летом она верну-

лась домой повидаться с отцом и погостить у своих месяца с два, никто ее не узнал — так была она высока, стройна, красива и так хорошо одевалась.

Не говоря уже о молодых людях женского пола, считавших ее недоступною, хотя она во все не была горда, шутила, плясала и пела со всеми, помещики, встречавшие ее где-нибудь, заглядывались на ее красоту, и один молодой господин, Дмитрий Александрович Непреклонный, начал даже лечиться у Михаила для того только, чтоб чаще видеться с нею. Но Маша была себе на уме... Впрочем, об этом после.

Через два месяца Маша уехала в Москву, и через год отец выписал ее снова, с намерением выдать замуж и поселить около себя, для успокоения своих преклонных лет.

Прошло не более двух недель после Святой и месяц со дня возвращения Маши в отцовский дом, как на Петровский Хутор приехала из города старуха Аксинья, жившая в кухарках у одного учителя русского языка. Старуха была кума и родственница Михаиле Григорьевичу.

— Добралась, добралась, родимый! — воскликнула она, помолившись на угловой образ. — Уж шла, шла... Как есть, все пешая шла от городу-то до самого, как есть, до Христовоздвиженья... Ей-Богу, право-ну! шла, шла! уж такой простой это управитель у них... Добрый, как есть добреющий человек... «На, возьми, старая ты этакая, говорит, да садись вон к мужику к нашему... он в Салапихино тоже...» Ну и довез. А то бы, без его милости, не дошла б; вот ти крест, не дошла б... Такая, друг, оказия!.. Ох, дай-ка, друг, присяду...

— Садись, кума... Маша, ты б чайку-то нам... — сказал Михаиле.

— Уж самовар стоит давно, сейчас закипит, — отвечала дочь и вышла в сени.

— Ну, что, кума?

— Да что! мое дело старое, живу! А я вот все на девку, друг, на твою гляжу... Эка девка-то вышла какая! И то сказать, ведь мать-то какая, покойница, была из себя видная. Ну, да все не то... Эта-то не в пример красивее... И уж нежная она у тебя какая... Небось, и рук-то ни к чему не присунет.

— Ничего! то есть, чтоб пожаловаться, так

нельзя... Девчонка во всем исправная... Да оно и видно, сейчас из Москвы... то есть из столицы. Дом богатый; во всем порядок идет.

— Знаю, знаю... Ох, друг, уморилась-то как я!.. Сестра Анфиска-то вчера, как в Салапихино-то я приехала с мужиком... «Ну, куда тебя на хутор несет?.. Успеешь, не за горами». — Нет, говорю, друг, уж дай пойду... Дельцо у меня есть до него бедовое. — «Да ты, дура, говорит, останься... Разве мы тебе не рады?» Это она мне... Нет, говорю, уж дай пойду лучше погощу у тебя... Только не гони, друг, сама после! Ей-Богу, кум, такая!..

— Какое ж это ты дельцо затеяла?.. Кажется, что бы это так? И в поре-то было, то есть в молодых летах, да дел-то у тебя немного бывало, а нынче уж за делами стала ходить...

— Э, э! да ты все брехун какой был, такой и есть!.. А дело-то хорошее для тебя...

— Ну, говори, говори... Или лучше ужо, как отдохнешь да чайку напьешься...

— И то, друг, и то! А то и язык-то словно вместе с ногами по земле тащила: ничего и не скажешь путем... Больно много говорить-то надо...

Однако не успела болтливая кума выпить и двух чашек чая, как уже приступила прямо к объяснению дела.

— Вишь ты, хозяин-то мой... учитель-то... Знаешь небось, друг? Ведь ты сам его видел в запрошлом году против поста, как в городе был, ко мне заходил — а? Знаешь, что ль?

— Знаю, как не знать. Видел я учителя твоего.

— Ну, ну... Ох ты Маша, Маша! полно тебе чай-то лить уж меня пот так и прошибает... Ну, давай, давай чашку-то... Э-эх!

Михаиле начинал терять терпенье.

— Да ну, старуха, говорила бы давно... Что размазываешь все — экая какая!

— Говорю, друг, говорю... Так это учитель-то. Вот вишь ты, друг, прихожу я к нему: «Батюшка, дескать, Иван, говорю, Павлыч, отпусти к родным... всего на недельку... Я тебе другую кухарочку на это время приищу... Еще молоденькая есть у меня такая, не мне, старухе старой, чета — мордастенъкая такая, белая». А он-то такой простой: «Ну, что за беда! ступай, говорит, не нужно мне твоей мордастенъкой: я к Подушкину схожу пока обе-

дать». Простой, как есть, самый простой человек. «Ну хорошо, говорю, дай Бог тебе здоровья, батюшка», да сама было и за дверь... Рада, известно... «Постой! кричит, нет ли у тебя из родных кого-нибудь... чтоб этак мне на лето поехать?» А мне сразу и невдомек... на кой пес, думаю, ему к нашим?.. «Я, говорит, понимаешь, нездоров, так хочу в деревню на лето... Узнай у своих, нельзя ли нанять у кого комнату... Да чтоб место хорошее было, веселое... чтоб гулять где было». Башка, кум, плохая, старая... «Не знаю, батюшка», да и вон из горницы... Уж это после... этак к сумеркам пришло мнение об тебе... Вот я докладываю... Есть у меня кум, Иван Павлыч, да не знаю, какое его на это будет согласие. Человек, говорю, хороший, дом чистый... Все как есть... А он и давай спрашивать... И кто такой, чем занимается, и реки есть ли, и роци... того намоллол, что и не перечтешь... А как сказала, что ты мол, лечишь, пользуешь... засмеялся этак потихоньку — понимаешь?.. «Ну, говорит, Аксинья, уж с леченьем-то его Бог с ним... Мне еще жить-то не надоело».

— Ну? а ты что ж? Так и смолчала? — пре-

рвал Ми-хайло.

— Какой смолчала!.. Опять-таки ему стала хвалить тебя... «Ну, говорит, ступай себе». Ей-Богу, такой славный человек!..

— Ну, спасибо, старуха... Дай-ка я об этом подумаю, а после и ответ тебе дам. Да ты не забудь, смотри, все скажи, как поедешь.

Михайло думал дня два и решил сначала внутренне, что это дело неплохое — взять с молодого учителя рублей двадцать пять серебром за все лето.

Накануне своего отъезда в город Аксинья зашла на хутор проститься. Михайло предложил ей довести ее в Салапихино на своей лошади и, сев с ней на телегу, обратился к ней с следующим вопросом:

— А что, ведь он, то есть барин-то твой, охаверник какой-нибудь... какие-нибудь проекты любит небось?

— И, что ты, что ты!.. И такой-то смирный. Чтоб в карты или вино бы любил — и не подумает... Читает себе день-деньской да пишет; разве Подушкин этот, тоже учитель, забредет... так в шашки сядут... Да и то никакого бунства нет: сидят себе да свищут оба...

Михайло изложил ей все свои условия и, оставив старуху в Салапихине, вернулся домой.

— Ну, дочка, — сказал он Маше, — комнатку твою надо попростать.

— Ну, что ж... я подмету хорошенько, платье свое вынесу.

— А где ты сама спать будешь?

— Где? да хоть к Алене пойду...

— Зачем? ты лучше в кладовой... Травы я возьму, а то голова будет болеть... очень уж дух сильно сперся. А сам на сеннике буду ночевать...

— Вот уж я на сене не люблю, смерть, — возразила Маша, — пыль такая... козявка всякая...

— А по мне эта козявка ничего...

II

Солнце село необыкновенно красно за теми полями, которые оборвались к реке против хутора такой крутой и зеленой стеною. Незадолго до заката прошел сильный дождь и, размочив всю окрестность, вызвал из нее тысячи свежих и крепких запахов. Воздух

был истинно благорас-творенный. Мшистые и кривые стволы раки, нагнутые над строениями, совсем почернели от сырости, и только стороны их, обращенные к заре, принимали чуть видный розовый колорит... Тусклые окна Михайлы стали совсем красные.

И Михайле ощутил некоторое влияние живописной и благоухающей окрестности. Будучи в добром расположении духа, он кликнул Машу, дошивавшую у окна отцовскую рубашку, и велел ей достать из старого шкапа довольно плохую сигару.

— А много их там осталось, Маша? — спросил он, закуривая сигару не без тщеславия.

— Пять... нет, шесть. Одна вон куда закатилась. Михайле вздохнул и вышел на порог своего жилища.

— Эка благодать Господня! — произнес он, перекрестясь, и, прислонившись к притолке, долго стоял, прищуриваясь и улыбаясь.

Как он переменялся в эти шесть лет! Белокурые волосы окончательно поседели везде — и на висках, и на затылке, и на усах; лицом и телом он пополнил, но мелких морщин поприбавилось много... Вообще же старость

наложила на него печать своего достоинства: он стал лучше на вид.

Долго стоял он у дверей и покуривал молча, пока наконец Маша не вышла к нему,

— Ты куда ж это? — спросил отец.

— Пойду к Алене... Уж скотину никак пригнали.

— Что ж ты, доить помогать?

— Вот доить! Так пойду посмотрю...

— А ну, как подоишь?

— Ну, что ж, если и подою? Руки-то не отпадут!.. Маша убежала, а Михаиле продолжал курить.

В этот день он ждал своего пациента, про которого столько наболтала кума, и голова его была так полна новостью положения, что он едва заметил, как мимо него, шагах в двадцати, прошли к реке все коровы, понукаемые звонким бичом маленького подпaska, как раздался грубый бас Степана, и как коровы, напившись, пошли опять к скотной. Одна из них, бурая, с белой головой и огромными рогами, даже очень долго стояла и смотрела на него, но была, как и другие, прогнана мальчиком, прежде нежели успела обратить

на себя внимание озабоченного старца.

Ему бы теперь очень хотелось узнать по-вернее, который час, но белые стенные часы с лиловой розой на циферблате уж третий месяц показывали ровно двенадцать.

А между тем тот, кого он так ждал, давно катился по дороге от села к хутору, и молодой сын салапихинского управителя был осыпан вопросами о стране и ее жителях.

— Говорят, у него есть дочь?

— Девчонка важная! — отвечал белокурый деревенский фат, — бедовая девчонка! Плясунья такая; гармонии эти пойдут, пляски, песни... Из себя высокая, — продолжал он, поднимая свободный от возжей кулак, — перехват здесь этак по-московски... улыбнется, знаете, и глазишка-ми... ух-ты!

«Должно быть, потерянная как-нибудь», — подумал Васильков, вздохнув. Потом спросил опять: — А отец-то сам леченьем только и занимается?

— Михаиле Григорьич-то? Нет-с, они портные, шьют всякое платье... Капиталец тоже имеют свой, как люди говорят... Сам я не считал-с. Ну и лечит... по селам ездит, от всех бо-

лезней вылечивает. Человек умный! сам себя остромысленным человеком называет... сколько жителей на земле знает... Такая, говорит, есть наука: остромыслие, говорит...

— Неужели?

— Как же-с! Вот хуторок-с.

Телега, гремя, въехала на мостик, перекинутый через рукав, и в то же самое время взорам путников предстала вся семья Михайлы, расположившаяся ужинать на открытом воздухе, у порога степановой избы.

Телега остановилась.

— Хлеб-соль! — воскликнул, приподнимая картуз, сын управителя. — Ешь щи, да только не пищи!

Степан загрохотал. Учитель слез с телеги. Все встали из-за стола.

— Все ли благополучно-с доехали? — спрашивал Михайло, кланяясь. — Где ваш чемоданчик-то? Эх, ты, братец Степан! Ну, что стоишь? Возьми-ка, подиними вещи-то с телеги.

Степан, с детским любопытством погружившийся в созерцание широкого и белого пальто приезжего господина, казалось, забыл

все остальное, лениво подошел к телеге, закричал сам на себя: «ну, тащи... эх!», и взвалил чемодан на плеча.

— Неси ко мне! — сказал Михайло. — Небось, батюшка, устали? Это то есть с дороги-то-с, сейчас бы и лечь?

— Да, это правда, я таки-устал.

— Уж не побрезгайте нашим жильем: оно ведь хоть и новое, да все то есть самое простое.

— Я и сам человек простой, — отвечал учитель, — за многим не гонюсь... Было бы чисто.

— Ну насчет этой чистоты можете быть в надежде! Я-с даже ужасно беспокоился...

Разговаривая таким образом, они вошли в дом и достигли той комнаты, в которой жила прежде Маша.

— Не знаю, как вы то есть будете довольны помещением? Я ужасно беспокоился об вас...

— Помилуйте! Комната очень хорошенькая и просторная.

— Да-с, комнатка хорошая... Дочь жила... Вон и зеркало свое забыла на столе... Вам оно не требуется?

— Нет, возьмите, — отвечал Васильков.

— Постелька вам приготовлена — все как надо, — продолжал хозяин. — Сторку я вам повесил на окне; еще из старого барского дома сторка осталась, а то солнце поутру ударение делает... Чайку не угодно ли?

— Нет, благодарю вас... Дайте мне только огня; я сам разденусь... Я хочу спать.

Михайло зажег свечу, и через полчаса наш молодой путешественник спал крепким сном.

— А не хорош постоялец, — заметила Алена, оставшись вдвоем с Машей.

— Чем же не хорош? Кажется, что недурен...

— Нашла хорошего! Чорный какой!... Волося предлинные...

— Вот еще какая! — возразила Маша. А твой муж не чорный? Уж черней его и нет никого.

— Так что ж? разве он хорош? Нашла хорошего!

— Ах ты Господи! А попроси-ка его у тебя — не отдашь.

— И-и-и! да еще в придачу зипунишко старый отдам! — воскликнула, смеясь, Алена.

Таковы были мнения женщин на хуторе об Иване Павловиче Василькове.

Когда на следующее утро он проснулся, первым движением его было посмотреть на окно; на окне была та ста-Ринная шторка с пейзажем, которую накануне он не успел рассмотреть; теперь же она показалась так хороша, что он привстал на постели и долго не сводил с нее глаз. Среди сплошных масс яркой и не совсем естественного колорита зелени выступал маленький храм в греческом вкусе, довольно удачно осененный ветвями; у подножия его пастух, в костюме французского фермера, задумчиво пас стадо белых овец, а на более отдаленном плане женщина, с сосудом на голове, удалялась в чащу, за храм. На всем этом ландшафте, слегка колыхавшемся, — потому что окно было открыто, — на всем ландшафте весело играло утреннее летнее солнце; лучи его пробрались между ветками старой ракиты, развесившейся над окном, и падали светлыми пятнами на стору. Одно пятно упало, как нарочно, на то место, где весьма смелый, но не очень даровитый художник вздумал изобразить один из тех яр-

ко зеленеющих просветов, которые попадаются в темных чащах лесов. Иван Павлович, рожденный в городе среди очень скромного класса людей, почти не знал обаяния старины... А стора была писана в наивные времена мадригалов и сладких пастушеских мечтаний, которым с такой мимолетной, но горячей отрадой предавались наши отцы и деды. На ней был изображен один из тех милых анахронизмов сборного идиллического блаженства, которые с такой любовью писались в век идиллий. Но не мысли о прошедшем шевелили Ивана Павловича при взгляде на стору. Он видел зелень, он видел солнце, рощу, греческий храм — он догадывался, каково должно быть утро, слышал веселое, до ярости веселое чириканье воробьев и пение петухов, которые оканчивали свои возгласы с такой интонацией, как будто были рады исполнять свою обязанность перед лицом прекрасной природы. И вся живительная прелесть ясного летнего утра взывала к нему; и он, умывшись и накинув пальто, вышел в другую комнату.

Маша встретила его почти в дверях.

Иван Павлович поклонился, не поднимая

глаз, и хотел вернуться.

— Что ж, чай прикажете к вам принести? — спросила Маша.

— Нет, — отвечал Иван Павлович, — стараюсь сделать свой голос грубым и все не глядя на нее, — нет, я выйду сюда. Где же Михаиле Григорьич?

— Он в огороде-с, — сказала Маша и пошла в сени за самоваром.

Маша напоила его чаем, Маша подмела и стала убирать его комнату. Все это его очень сконфузило, и он как можно скорее ушел в садик посмотреть на Михаилу, который, без сюртука и жилета, в розовой рубашке и затрапезных панталонах усердно полол на грядине всякую дрянную траву. Иван Павлович, не зная, что делать из своей персоны, стал до поту лица помогать ему. Потом ушел в рощу и долго сидел там в совершенном онемении; наконец вернулся около полудня домой. Тут увидел он, что книги его подняты с полу и довольно порядочно разложены на маленьком крашеном столике... Он узнал этот столик, вспомнил, что на нем стояло вчера московское зеркальцо Маши и ее шкатулка. Это

очень тронуло Ивана Павловича. Пощупав без всякой видимой цели ножку стола и побарабанив пальцами по всем книгам, он решил-ся выйти на крыльцо, где работала Маша, и просить у нее дощечку и гвоздиков, чтоб устроить себе полку; потом прибавил, помолчав:

— И молоток... молоточек также... А то, знаете, прибить нечем...

— Кого прибить? — спросила Маша, откусывая нитку и собираясь встать.

— Гвоздики... — отвечал Иван Павлович скромно. Она встала, и глаза их встретились. Маша рассмеялась,

Иван Павлович внезапно улыбнулся тоже.

Маша принесла две доски, несколько огромных гвоздей и молоток к нему в комнату. Иван Павлович собрался лезть на стул, чтоб приколачивать, но она остановила его, сказав:

— Охота это вам беспокоиться! Дайте-ка я приколочу, а вы только подавайте гвоздики.

И, быстро вскочив на стул, она начала вбивать гвозди Довольно сильной рукой.

— Зачем же мы так высоко прибиваем? —

заметил Иван Павлович, вдруг опомнившись.

— Да ведь две полки... Какие же вы чудные! Уж если верхнюю низко прибьешь, куда ж будешь другую-то доску прибивать?

Иван Павлович кивнул потихоньку головой. Правду сказать, ему очень хотелось завести разговор с Машей, да он никак не знал, с чего начать.

А она все вбивала гвозди, стоя на стуле, и при каждом движении руки выгибался немного назад стан ее, опрятно подтянутый поясом, и слегка морщилось от стука свежее лицо ее, которое казалось Ивану Павловичу особенно мило в том несколько зеленоватом полусвете, который бросала в комнату шторка, украшенная густой рощей. Правда, он находил Машу при свете слишком румяной; теперь он едва ли сознавал, что находил ее какою-нибудь, а только стоял как столб и следил за каждым движением природно-стройной и сильной девушки, присоединявшей к истинно простонародной свежести умеренную кокетливость. Конечно, для человека, который больше видал женщин на своем веку, не остались бы скрыты многие угловатости в

словах и приемах Маши, хотя всякий человек со вкусом не отнял бы у нее ни пышности форм, ни жизни лица, ни естественной грации. Но для Ивана Павловича!.. Иван Павлович, как и всякий мужчина лет 25-ти, успел уже видеть хорошеньких и грациозных женщин, но все это вдалеке, в каретах или на гуляньях, большею частью во время своего пребывания в Москве; с тех же пор, как он продолжал свое тихое существование в губернском городе, он постоянно встречал только жен и дочерей городских обывателей, жеманных и пискливых, которые были ему несносны, и он не знал почти моральных сношений с этим полом.

Итак, красивость Маши очень располагала его разговариваться, к тому же побуждала его немало роль наблюдателя, которую он имел в виду и никак не мог начать, по причине своей медленности и еще потому, что судьба далеко не с избытком снабдила его даром практического на-

блюдения. Волнуемый своими нравственными идеями, он решился почти без труда молчать и ждать, чтоб она заговорила первая.

Ожидание его, довольно, впрочем, теплое, было нетщето: Маша приделала уже одну подпорку доски к стене и, протянув руку к нему за гвоздем, сказала:

— Пожалуйте, Иван Павлыч, еще гвоздик!.. Какие вы, право, задумчивые!.. Задумаетесь, стоите — ничего и не видите.

Тут она раскрыла для улыбки губы, и темно-серые глаза ее взглянули через плечо так живо и вместе так задушевно на Ивана Павловича, что он отвернулся и отвечал, вздохнув:

— Так, что-то задумался... Я всегда так...

— И вздохнули так тяжело, словно у вас тоска какая...

— Я болен, — отвечал наудачу Иван Павлович, хотя на эту минуту не ощущал никакого беспокойства телесного.

— Вот я тоже... я тоже больна, — сказала Маша, и лицо ее сделалось серьезным, и она начала громко стучать молотком.

Другой бы на месте Ивана Павловича подумал — «ну, не похоже!», — но он прислонился к стене, чтоб ближе видеть ее в лицо и, движимый тою смелостью, которую придает уча-

стие застенчивым и добрым людям, произнес, прямо подняв глаза на нее:

— Вы больны, Марья Михайловна? право? Что ж у вас болит?

Маше очень понравилось, что он назвал ее Марьей Михайловной; за это она отвечала ему смехом и следующими словами:

— Голова болит... иногда ужас как разболится. Батюшка называет как-то этак по-своему... а я не помню...

После этого она сошла со стула, еще раз посмеялась, взяла молоток, накинула на черные волосы свои красную косынку и ушла.

Ивану Павловичу взгрустнулось.

Он начал становить книги на полку, и Бог знает что перебродило у него в голове. Между прочим, ему стало ужасно жалко Машу, особенно в том, что она так удачно уступила ему свой крашеный столик. Он даже сам себе показался крайне грубым на этом основании. Обедал он у себя в комнате без особенного аппетита, а вечером имел разговор с Михайлой насчет леченья...

— Вам надо пить декохт, — заметил Михайле.

— Из чего ж ты мне дашь декокт? У меня зимой один раз так разболелась грудь, что я ожидал смерти.

— Конечно, в животе нашем никто не властен, кроме что исключая Бога, а вы только не извольте беспокоиться... Это все соки худые.

— Худосочие? — с ужасом спросил Иван Павлович.

— Так-с... Это, понимаете, то есть больше от золотухи... А здесь вы купаться извольте два раза в день... Декокт будет из пырея; одуванчики будут, цикорий. Пищу сам я полегче вам буду готовить...

— А ты умеешь разве готовить?... Михаиле усмехнулся и кашлянул за рукой.

— Сготовим, не извольте тревожиться об этом. Движенья побольше, так, чтоб (тут он вышел из своей обычной увальчивости и злобно замахал руками перед грудью) разбивать соки, на грудь чтоб не падали... грудь-то у вас крепкая, высокая, только, видно, сидячую жизнь вели.

Современность последней фразы удостоверила Ивана Павловича в познаниях Михаила, и он ушел спать с готовностью начать на

другой день правильный образ жизни.

Между книгами на полке была у него чистая тетрадь, которую он достал и, написав на ней «Дневник» и «26-го мая такого-то года», сделал на ее первых страницах несколько заметок, из которых мы приведем только самые любопытные:

«Наконец я в деревне! Перед лицом природы душа человека возвышается над мелочами жизни. Боже мой, как

человек мог бы быть счастлив среди этой природы, если б разврат не губил его! Я сам ощущаю глубокую отраду в этом убежище; я поставил божественного Гомера рядом с нежным Катуллом и остроумным Горацием на полку, и невольно думаю, сколько еще наслаждений невыразимых, умственных и сердечных, доставят они мне в этом скромном и тихом приюте. Впрочем, я и в городе нашем мог бы быть совершенно счастлив, если б злоба некоторых людей не отравила дней моих, и без того небогатых радостью. Что сделал я, например, Ивану Сидоровичу? Он не любит меня за то, что Подушкин сказал мне у себя на вечере, будто у него кривое лицо... Но чем же

виноват я в словах Подушкина? Я, может быть, и не заметил бы его лица, если б не Подушкин. С тех пор он меня ненавидит, но я от души прощаю ему».

Правильный образ жизни Василькову вести было нетрудно: самая обстановка была вообще благоприятна. Не говоря уже о деревенском воздухе, утреннем благоухании земли, которой довольно много осталось от старой рощи, бывшей прежде на том месте, где молодой салапихинский барин устроил хутор, самая комнатная жизнь его была недурна. Часто бранят нечистоплотность нашего народа, и хотя укоры эти отчасти заслужены, нельзя, однако ж, не сказать, что есть условия, при которых вовсе не скучно пробыть несколько времени под крышей русского простолюдина. Такие условия часто представляют городские, подгородные и сельские мещане: у них нередко встретишь какую-то приятную смесь купеческого и крестьянского колорита. Всегда большая, чистая комната, с образами и лампадой; старый шкаф с чашками и другой посудой за стеклами верхней половины, с выступившим вперед комодом внизу;

всегда стенные часы белые, с какими-нибудь рисунками; кровать, украшенная пестрым ситцевым занавесом; большею частью картины и гравюры на стенах, сцены из «Ермака», «Кавказского Пленника» и т. п. У Михайлы именно в таком вкусе было убранство в доме; сам он еще у старого лекаря, у которого прожил десять лет в первой молодости, привык к опрятности и к порядку. Дом его был почти новый, тем более, что сам Михайло всю зиму прожил в избе у племянницы, из экономии, и только весной, когда уже решился выписать дочь из Москвы для приискания ей приличной партии, перешел в свое настоящее жилище. Приезд же Маши, которая три года была любимой девушкой богатой и хорошо жившей барыни, мог только еще улучшить быт его.

Итак, с этой стороны Ивану Павловичу было хорошо. Обед ему готовил сам Михайле — обед не обильный, но сытный, гораздо лучший его городского обеда. По воскресеньям сама Маша угощала его прекрасными пирогами, которые удивительно умела печь косая Алена.

Каждое утро, выкупавшись и подышав воздухом рощи, возвращался он к себе и брал Гомера, Горация или что-нибудь другое и садился читать у порога крыльца на лавочке, под ракетами, где ему в самый жаркий полдень было хорошо, потому что эта стена избы приходилась на запад. От времени до времени приходил к нему в комнату поутру Михаиле и начинал беседовать с ним.

Михаиле был странный старик... В нем как-то смешивались лукавство, тщеславие и горячие, чистосердечные речи, когда дело доходило до толков о врачевании. Какой удивительный разгул мистицизма и воображенья просвечивал в этих бессвязных речах, в которых как будто недостает слов для выражения внутренних убеждений! Иван Павлович от души грустил, чувствуя решительное неумение воспроизвести его беседу в своих мемуарах. Это не мешало ему радоваться и заранее напрягаться, если Михаиле, улуча минуту, входил в его комнату и, покашляв, садился на кончик стула, упирал руки в колени и осведомлялся о состоянии его здоровья.

— Ну, как, то есть, вы себя сегодня чувству-

ете? Как здоровьем?..

— Ничего, хорошо... Свежее, все свежее, Михаиле Григорьич.

— Ну и благодарение Господу Богу, если свежее! Наипаче на Него надежду питать нужно-с... От Него все нам, то есть все: и помощь, и пособие, и укрепление..

Михаиле говорил тихо и качал головою. Иван Павлович почтительно слушал и, набожно вздыхая, дивился, сколько здравых и светлых мыслей, хотя и не новых, можно услышать иногда от простолюдина.

— Да вы, Михаиле Григорьич, славный доктор...

— Я? что же-с? я, во-первых, что учености не имею... Натомии не знаю! Натомить тело человеческое, внутренности всякие права, то есть, не имею. А что лечу, так все с упованием; и какая есть мудрость, все как есть — все свыше!.. Теперича, извольте послушать, я вам скажу, как я думаю о травах всяких, какую, то есть, разницу нахожу осенью или весною, или летом...

Тут обыкновенно Михаиле пускался в подробности, которым не будет места в нашем

рассказе.

С Машей же Васильков долго перебрался, перебрался незначительными фразами, несмотря на свое желание поговорить с ней.

Вообще она начинала сильно ему нравиться, и он боялся собственной склонности.

Только раз вечером, когда Михайлы не было дома, Иван Павлович воротился домой после вечерней прогулки в поле и застал Машу в таком положении, что счел себя даже обязанным заговорить с нею.

Молодая девушка сидела в большой комнате у стола, облокотясь на него и закрывая руками лицо.

Поза ее была так печальна, что сердце Василькова сжалось, и он, подойдя к столу, наклонился к Маше.

— Что с вами, Марья Михайловна?.. Отчего вы так грустны? Вы нездоровы?

— Голова ужасно болит!

— Что ж Михаиле Григорьич вам не поможет? Он, кажется, все эти вещи хорошо знает...

— Нет, батюшка говорит, что против этого ничего нет... Спиртом только мочить дает...

— Где ж ваш спирт?

— Я хотела лечь — тогда помочу...

— Да вы бы теперь помочили. Где он?

— Он в том чуланчике... Пойдите, я схожу.

— Нет, уж вы сидите, Марья Михайловна.

Я лучше схожу.

— Помилуйте, Иван Павлыч, как это можно! Но Иван Павлович уже шел, сам не зная куда. Маша засмеялась, несмотря на головную боль, и остановила его.

— Вот ведь идете, а сами не знаете, где спирт. Он в том шкапу, направо, длинная такая бутылочка...

Васильков принес спирт, намочил им волосы Маши, и, несмотря на ее смущение, на ее просьбы оставить, держал ей очень долго голову руками, что значительно ее облегчило.

Когда она совестилась и просила его отдохнуть, он отвечал всякий раз:

— Я не знаю, зачем вы хотите лишиться меня удовольствия...

И Маша успокаивалась.

«Какая милая девушка! Что если б ее нравственность соответствовала ее наружно-

сти! — думал Васильков, уходя к себе. — Как приятно делать услугу ближнему, делать добро! Что может быть выше таких минут» — восклицал он, не замечая, что его удовольствие было гораздо сложнее простого удовлетворения доброты и чувства долга.

А Маша, раздеваясь, не раз повторяла себе:

«Какой добрый господин! Вот хороший-то человек! ангельская душа!»

С этого вечера они стали вовсе без церемонии обходиться друг с другом.

Маша часто рассказывала различные случаи своей жизни, смеялась и делала ему глазки. Иван Павлович всегда со вниманием ее слушал и радовался, глядя на ее веселость.

Скоро он совсем ободрился и стал даже постоянно расспрашивать Машу, где она была и что делала.

— Скажите, пожалуйста, куда это вы вчера ходили?

— В село, к сестре к двоюродной. У меня там сестра есть двоюродная. Она там замужем. Вот уж смеху-то было!

— Что ж такое?

— Просто смех! Антон этот, Федора-садов-

ника сын, еще нос длинный... он ужасно в меня влюблен, так сейчас и притащится, со всех ног прибежит, когда узнает, что я пришла. Только я так вот сижу у окна, тут сестра... и я, знаете, так просто была, просто, как есть, в старом холстинковом платье, потому что мы за грибами пошли в рощу, да уж оттуда, признаться, чаю очень захотелось, а село близко. Ну, мы с Аленой и пошли. Сейчас это Антон! «Здравствуйте, Марья Михайловна, мое почтение! Вот вы (это Антон-то мне) вы теперь на нас и смотреть не захотите... у вас теперича господа живут!...», — то есть это он про вас — такой дурак! Ну, я ему, конечно, так и отрезала: «Говорится русская пословица: слышишь звон, да не знаешь, откуда он. Я и всегда на тебя не смотрела, потому что смотреть не на что. А этот барин, я говорю, что у нас живет... это такая глупость — что-нибудь подумать! Он даже из комнаты только гулять выходит, никогда ни слова со мной не говорит...»

Иван Павлович весело улыбнулся.

— И вам не жаль было его? Сказать молодому человеку прямо, что он не стоит, чтоб на

него смотрели...

— А он зачем важничает? Думает, что отец его барские ранжереи обкрадывает, так уж в него все сейчас и влюбятся. Жилетки я его пестрой, что ли, не видала? Уж терпеть не могу, кто важничает да хвалится!

— Хвалиться, конечно, нехорошо, Марья Михайловна, зато вам, я думаю, очень скучно здесь с такими людьми.

— Нет, скуки-то большой нет. Я в село ходить люблю.

— А что, если б я в самом деле вздумал за вами поволочиться, как другие, что б вы тогда сказали?...

— Что ж мне сказать? Я бы очень была рада.

— Рады? Чему ж вы были б рады?..

— Тому, что нравлюсь такому хорошему человеку, доброму...

После этого Маша вдруг засмеялась, выставляя напоказ свои белые зубы, и уходила, а Иван Павлович думал: «Какое странное существо!»

Все шло прекрасно. Но вот однажды утром Иван Павлович удалился от зноя в свою комнату, которой окна были на восток и где темная сторона, мешая утреннему свету, разливала прохладу.

Он собрался переводить что-то с латинского и начал было уже чинить перо с большим тщанием.

В других комнатах никого не было слышно. Маша ушла к Алене, а Михаиле еще с утра отправился в Салапихино, куда призывала его медицинская практика.

Белые часы с лиловой розой на циферблате, заведенные и исправленные по случаю приезда Ивана Павловича, резко стучали в соседней комнате. Восточный ветер, шевеливший расписную сторону, приносил с собой далекое пение петухов, и от этих однообразных звуков только заметнее было глубокое полдневное молчание всего остального.

Так прошло около часа.

Вдруг послышался стук телеги и голоса с надворья. Иван Павлович прислушался. Дверь заскрипела, и раздались шаги.

— Да, рубликов двадцать серебром, — гово-

рил голос Михаилаы.

— Э-ге! — отвечал незнакомый голос, — ты вот какие куши стал брать! Да тебя уж скоро в Москве будут знать.

— Что ж за куш за такой? Ведь харчи мои...

— Ничего, ничего!... Я ничего не говорю, — громогласно возразил незнакомец, — молодец да и только, Ми-хайло Григорьич!

Тут послышался шопот сдержанный, и голос Маши произнес с быстротою:

— Что вы это? Экой шутник вы какой! Что это вы выдумаете только?

Михайло и незнакомец громко засмеялись. Иван Павлович совершенно был заинтригован. «Кто ж это может быть?» И он продолжал внимательно слушать.

— Да-с, да-с, — снова начал приезжий, — вот и мы опять приехали сюда... Я говорил, что долго не выживу в Москве — не могу: так и тянет сюда; здесь все как-то роднее!

— Ну уж понятное дело-с, — возразил Михайло, — что роднее: здесь родились, то есть, здесь и все, как есть, свое... Ну, и только что вот поскучнее-то, я думаю, не в пример против московского-то будет...

— Э-э! нет, Михайло Григорыч! Ты не поверишь, как я люблю деревню... Деревня мой рай, моя жизнь; здесь и люди-то добрее, и жизнь покойнее! Ты и судить об этом не можешь... Тебе небось Москва-то чудом каким-нибудь представляется.

— Отчего ж это так уж и чудом? Был я не раз в Москве, то есть этак годов двадцать назад; как барыня-покойница еще езжали туда, так и меня брали... Ведь я уж старец теперича... Ведь в Москву или Петербург какой-нибудь поедешь, если так, для примера, не на забавы на какие-нибудь... то есть в мои-то лета, Дмитрий Александрыч!

Несколько времени они помолчали.

— Пойти вашего коня-то поставить к месту, — сказал наконец Михайло и заскрипел дверью.

Тогда опять послышался ласковый голос Маши.

— Вот вы как зазнались, в Москве-то проживши; уж правду сказать, зазнались. Бывало, то и дело все рассказывают, как вы по ночам верхом здесь разъезжаете.

— Ты лучше мне скажи, в кого ты влюбле-

на?

— Это ваше дело влюбляться, батюшка, а нам уж куда... Я не знаю, как это так и влюбляются-то.

— Ну уж верно есть какой-нибудь ферт?

— Еще я на ферта-то на вашего и посмотреть, может быть, не захочу.

— Отчего ж, коли человек хороший? За муж можно выйти...

— Очень нужно! Что я сама себе лиходейка буду, что ли? ни с того, ни с сего, да вдруг и замуж. Еще какой-нибудь такой навяжется... За меня даже один в Москве...

— Ну, вот и значит, что зазнобил кто-нибудь сердечко. Ферт-то, значит, и завелся. Сам отец твой говорил, что выписал тебя сюда для этого.

— Отцу нужно очень все рассказывать. Говорлив уж больно.

— Ну так что ж за беда, что отец мне сказал? Я ведь, ты знаешь, люблю тебя...

Иван Павлович подошел к дверям и прислонился к стене около них.

Слышно было, что незнакомец ходил взад и вперед по комнате, похлопывая арапником.

— Полноте вы кнутом-то вашим хлопать; того и гляди меня заденете, — заметила ему Маша...

Хлопанье прекратилось. Настало молчание.

— Маша, а ведь я тебя ужасно люблю! — внезапно произнес мужчина.

— Хоть бы вы не кричали так...

— Ах, да! я и забыл...

После этого опять послышалось шептанье, прерываемое от поры до времени сдержанным смехом Маши.

Иван Павлович стал раздумывать, хорошо ли будет с его стороны войти туда в эту минуту и прервать их разговор. Найдя, что непохвального тут нет ничего, и убедившись даже, что ему необходимо спросить себе молока, потому что подошло время завтрака, он, скрепя сердце, растворил дверь. Маша сидела на лавке боком к окну и шила. Незнакомец сидел на стуле около нее. Увидев Василькова, он встал. Господин этот был довольно высок и худощав; по обеим сторонам бледного его лица спадали на плечи светло-каштановые кудри; мелкие, но довольно правильные чер-

ты лица, рыжеватая круглая борода, широкие клетчатые шаровары, белая жакетка, запахнутая на рубашке, не прикрытой жилетом, и длинные концы пестрого носового фуляра на шее — все это давало ему весьма иностранный вид, который, как новизна, очень понравился нашему наблюдателю.

Он ответил на вежливый поклон незнакомца и хотел обратиться к Маше с просьбой прислать ему молока, но кудрявый молодой человек сказал звучным голосом:

— Позвольте мне рекомендовать себя как соседа...

— Очень приятно!

— Мне тоже... Встретить образованного человека в такой глуши — ничем неоценимая радость... Моя фамилия Непреклонный...

— Васильков Иван Павлыч...

— Знаю, знаю; мне уже сказано было о вас... И он крепко пожал руку Ивана Павловича. Васильков был очень смущен всем этим и хотел опять попросить молока у Маши, которая все время следила с улыбкою и любопытством за их разговором, но Непреклонный опять не дал ему исполнить это намерение.

— И надолго вы в наших парижках?

— В чем-с?

— Pardon! в наших странах, в этих грустных полях?

— Я полагаю пробыть весь вакант и даже, может быть, далее, смотря по здоровью...

Непреклонный снисходительно улыбнулся.

— Я думаю... я полагаю даже, что это ошибка.

— Что-с ошибка?

— Ваше мнение о здешнем климате. Климат пустой: от него перемены не будет.

— Все-таки, согласитесь, деревенский воздух...

— Иван Павлыч, — перебила Маша, — молоко пора кушать. Хлеба прикажете?

— Потрудитесь, пожалуйста.

— А-а! Молоко, хлеб! — воскликнул Непреклонный, — дайте нам молока и хлеба! Я готов целый день пить молоко и есть хлеб: это превосходно, пасторально! Маша, и я буду есть.

— Слушаю, слушаю-с, принесу всем. — С этими словами Маша ушла.

Непреклонный вздохнул...

— Вы учитель? — спросил он.

— Да-с, учитель. Преподаю русский язык...

— Были в университете?...

— Нет-с, я ограничился одним гимназическим курсом. Непреклонный подвинулся к нему ближе и спросил вполголоса:

— Вы бедны?

— Да, я состояния не имею. Непреклонный отвернулся, промолвив:

— Да, да я тоже был беден...

Потом вдруг воскликнул, сверкнув глазами прямо в лицо изумленного Василькова:

— Но это ничего!... Смелей вперед, вперед!

И, запев какой-то марш, он начал барабанивать в стекло.

К завтраку пришел Михаиле. Все были веселы, особенно Непреклонный; он выпил почти целый горлач молока, говорил без умолка самым простым языком, спросил у Ивана Павловича, наблюдает ли он кравы, и когда тот отвечал, что одно из искреннейших его желаний — желание изучить домашний быт русского народа, он засмеялся, пожал ему плечо и заметил, что это бездна и что в два месяца

ца ее не исчерпаешь. Маше он говорил комплименты, рассказывал смешные московские анекдоты, подшучивал над медициною Михаила, и незаметно прошедший завтрак оставил в душе Ивана Павловича какое-то смутное чувство удивления, беспокойства и удовольствия, в котором он сам не мог себе дать отчета.

После обеда молодой человек куда-то исчез. Маши тоже не было видно, и Васильков заблагорассудил выйти к реке и посидеть на камне, в тени. Проходя чрез сквозные сени, он увидел Машу, преспокойно разговаривавшую у задних дверей с Непреклонным. Иван Павлович покраснел и остановился; но, увидев, что Маша продолжает смеяться и что присутствие его не производит никакого эффекта ни на нее, ни на него, подумал, покачал головой и, уходя, обернулся еще раз. Глаза его встретили взгляд молодой девушки, которая скорчила небольшую гримаску и очень мило погрозила ему пальцем. Потом опять подняла глаза на Непреклонного, который в живописной позе, прислонясь к притолке, раскидывал перед нею свои кудри, широкие отвороты жа-

кетки и пестрые концы носового фуляра.

Иван Павлович, начав подслушивать с утра, решился без труда продолжать начатое. Он сел у порога и напряг внимание.

Маша что-то прошептала.

— Ну, вот, дай Бог тебе здоровья, что не забыла старого друга! Поцалуй меня, — сказал ей в ответ Непреклонный.

— Ну вас с вашими поцалуями! Что ж обещали-то?

— Исполню, исполню.

— Ну, прощайте...

— Вот ты какая! А поцаловать?

Ивана Павловича била лихорадка; он привстал со скамьи — но все затихло, и через минуту Непреклонный, насвистывая польку, вышел из двери.

— А! это вы! — воскликнул он, увидев Ивана Павловича, который сидел неподвижно, прислонясь головой к раките.

— Я-с, — спокойно отвечал Васильков. Непреклонный присел около него.

— Прекрасная вещь деревня! — сказал он вдруг, вынимая из кармана портсигар и закуривая папироску; потом он посмотрел с

необыкновенною тонкостью на своего нового знакомого и, улыбнувшись полусострадательной, полунасмешливой улыбкой, которая делается опусканием углов губ книзу и которая вовсе к нему не шла, продолжал:

— Вижу, вижу, что изумил вас моим вступлением!.. *Mais ne jugez pas l'arbre d'après l'écorce!* Вы, вероятно, приняли меня за чрезвычайно светского человека... Как вы ошиблись!

— Я не знаю, на каком основании... — начал было скромно Васильков; но Непреклонный гордо прервал его, положив руку ему на колени и продолжая глядеть ему прямо в глаза:

— Полноте, полноте Иван Павлыч... *pardon*, вас, кажется, так зовут?

— Да-с, точно так. Но я все-таки не знаю...

— Нет-с позвольте, *mon cher m-r* Васильков. Поверьте вы мне, что умный человек сумеет всегда слить и то и другое — и природу, и общество. Это вовсе не так трудно даже. Я приведу вам тысячу примеров... не правда ли так?

Непреклонный с любезнейшей улыбкой

склонил худощавое лицо свое к Ивану Павловичу, и русые волосы его, в самом деле густые и прекрасные, распались очень живописно на плече.

Иван Павлович решился во что бы ни стало досказать свою три раза начатую фразу.

— Я совершенно с вами согласен; но позвольте вам заметить: удивляюсь, почему вы полагаете, что я принял вас за светского человека? Напротив...

Непреклонный заметно обиделся, но продолжал улыбаться с глубоким знанием света.

— Как? вы хотите сказать, что вы не приняли меня за светского человека?.. Это меня до невероятности изумляет. Это странно, очень странно! Но мне все-таки очень приятно, что вы меня постигли. Большая часть моих знакомых (тут Непреклонный стал разочарован всеми чертами лица), напротив, часто глаза мне колют излишним знанием приличий и света. Но я Протей: я умею быть холоден в столице и пылок, как самый пылкий юноша, в деревне, среди простых людей. Знаете ли, что я вам скажу... ваша наружность внушает доверие.

Васильков поблагодарил от души; он начал находить этого человека в высшей степени умным и замечательным. Да и немудрено: сосредоточенный от природы, Васильков жил так долго в отдалении от живых интересов, от живых личностей, владеющих новым языком не на бумаге, а говорящих им без труда, и от избытка новых понятий, что две-три фразы, сказанные Непреклонным, уже нашли отголосок в его свежей душе, готовой принять бесконечный запас извне, чтоб претворить его в себе с добросовестной любовью к мышлению.

Городские знакомые не удовлетворяли его. И как часто, гуляя вечером на бульваре, когда широкая река без движения блистала внизу зеленых уступов, идущих к ней от крайней аллеи; когда с одной стороны догорало багровое солнце и начиналась туманная лесистая даль, а с другой пестрела южная часть города, спускаясь к реке мелкими домиками, грудями напильного леса и прибрежными шалашами; когда румянилась от заката соборная колокольня, подымаясь высоко над бульварными липами, и попеременно возрастал и

слабел в отдалении уличный гул и треск — сколько раз в такие часы Васильков горячо жаждал встретить друга или товарища, которому он мог бы сказать, что вот как солнце садится и как гудит город, и почему он думает, что природа выше людей, и какую связь находит он в том, что совершается перед ним в эту минуту, с тем, что прочел он вчера в новом журнале... и тысячу тех старых вещей, которые, обновив сердечной теплотой, считает человек великолепными и таинственными открытиями!

Все это припомнил Васильков, слушая Непреклонного и думая встретить в нем тот идеал собеседника, которому было послано столько одиноких вздохов... забыл даже о давишной своей ревности.

Итак, он поблагодарил Непреклонного за доверие, которым тот хотел его подарить.

— Да, — продолжал Непреклонный, закрыв на минуту рукою глаза, — да... тяжело жить одному иногда; хотелось бы раскрыть тайник своей души перед человеком, способным ценить нас. Поверите ли, Иван Павлыч... (Непреклонный взял его за руку) я очень об-

радовался, когда мне сказали, что вы здесь проведете все лето; я был очень рад соседу... но это не то, это пустяки; а важно то, что я из давишнего вашего разговора понял вас, увидел, что вы человек образованный... Прощайте, однако, поговорим в другой раз, а сегодня мне что-то грустно. Ведь обыкновенно-то я весел!

Непреклонный встал и с извинением пожал руку молодого учителя, совершенно пораженного внезапным его решением уехать, не кончив дельной и откровенной беседы.

— Прощайте! — повторил Непреклонный, встряхнув волосами. — Очень рад, что познакомился с вами и понял вас. У меня странно проницательный взгляд; он мне даже много вредил, но на этот раз я ему благодарен...

Тут стройный молодой человек особенно приятно зашипел, потянув в себя воздух (движение, общее многим во время самолюбивых разговоров, но необъяснимое психологически), потом надел фуражку и, хлопая бичом, исчез за ракитами, оставив Василькова в глубоком недоумении не только насчет себя, но и насчет всех вещей в мире.

Когда стук копыт по мостику затих и Васильков догадался, что Непреклонный должен быть уже далеко от строения, он встал и решился немедля дополнить то, что заметил в долговолосом Непреклонном, и то, что от него слышал, мнениями простолюдинов. Прежде всего он хотел бы поговорить с Аленой, потому что из двух-трех разговоров с нею успел заметить ее смышленность.

Давишняя ревность, подкрепленная собственными впечатлениями, столь благоприятными для этой новой и блестящей в его глазах личности, проснулась в нем. На этот раз она была только грустнее и покорнее; в ней не было того негодования, которое вспыхивает в нас при виде предпочтения, оказанного ничтожному и недостойному человеку. Маша была исключена из списка способных подать голос в пользу или во вред Непреклонного.

На углу скотной он увидел Степана, который с большим вниманием смотрел вдаль. Иван Павлович подошел к нему и спросил, что он такое высматривает.

— А вон храбрится! — отвечал могучий брюнет, показывая рукой на отдаленный при-

горок.

Васильков последовал глазами за его рукой и узнал Непреклонного в ловком всаднике, несшемся во весь опор по дороге.

— Ишь поворотил] — с злобой воскликнул Степан, продолжая наблюдать.

— Что он за человек? — спросил Васильков.

— А кто его знает! Это он из Москвы жеребца привез, а то на меринишке на куцом таскался...

— Давно он к вам ездит?

— Давно, кажется; о ту пору стал ездить, как Машка наша приехала...

И Степан загрохотал таким толстым хохотом, что Васильков с ненавистью отошел от него.

Вернувшись домой и увидев, что Михаиле занимается в большой комнате связыванием в отдельные пучки какой-то травы, Иван Павлович присел около него и приступил прямо:

— А что, скажите мне, Михайло Григорьич, что это за человек Непреклонный... хороший он человек или нет?

— Человек добрый, смирный; люди хвалят.

Приволокнуться только любит...

Иван Павлович грустный ушел к себе и долго не мог заснуть.

Все происшествия дня, любезность Маши с молодым и красивым человеком, ее красота, мысли о нравственности в народе, две-три сатиры Горация, Гомер, ревность, мнение Михайлы, блестящий разговор самого Непреклонного, его арапник, кудри и бесконечные шаровары, между которыми у него на ходу не было никакого пространства — все это подняло совершенный гвалт в голове впечатлительного юноши, и сон бежал от него.

Но это было не последнее испытание, которому он подвергся в этот замечательный день. Ему предстоял еще сильный удар.

Около полуночи, только что первая дремота стала нападать на него, он был внезапно разбужен шумом у окна и, приподнявшись, заметил, что полоса лунного света, которую пропускала стора в его комнату, стала гораздо шире; вслед за этим, он услышал слова: «Маша! а Маша!», произнесенные шопотом у окна.

Васильков бросился к окну, откинул стору;

но говоривший успел уже отскочить за деревья, и угол избы дал только Ивану Павловичу возможность различить мелькнувшую мужскую тень.

Нельзя было оставаться. Он поспешно оделся, как попало, и осторожно вышел на крыльцо. Никого не было видно. Река спокойно блистала на месяце; из строений не слышалось звуков. Но через минуту до его напряженного уха долетел легкий шелест в сених. Сени были сквозные, и Васильков очень хорошо понял, что легкие шаги направляются к той двери, которая отворялась в огород.

Дверь заскрипела. Васильков обогнул угол и присел за ракитой. Маша шла очень быстро около плетня, поспешно завязывая концы косынки, накинутой на голову. Васильков решил сделать еще несколько шагов.

В эту минуту Бог знает откуда взялся Непреклонный. Он подал Маше согнутый локоть, и оба побежали к роще. Иван Павлович не упускал их из вида. У края рощи стояла телега с привязанным к березе гнедым рысаком.

Непреклонный заботливо посадил Машу

в телегу. Она взяла возжи; он отвязал лошадь, сел, и телега, хрустя сухими ветками, скрылась.

Васильков вернулся домой.

IV

«Грустно, очень грустно!..»

Так начал Иван Павлович свой дневник, забытый в прошедшие две недели, на другой день после появления описанного нами соседа.

«Печально видеть, что человек, вопреки высокому своему назначению, вопреки божественной искре, вдохнутой в него Творцом, непрестанно ищет праха самого презренного, самого ничтожного и неблагодарного праха!

Я сказал: „неблагодарного“. Да, мелочь бытия нашего не вознаграждает нас за фимиам, которого облака воссылаем мы ежедневно к алтарю суетного блеска. Всего грустнее видеть людей, начинающих терять свою первобытную простоту! Я старался наблюдать все, что меня окружает, и вот уже более трех недель не могу распутать многого. Особенно меня интересуется эта молодая девушка... не

потому, чтоб я любил женщин более всего остального на свете — о нет! могу сказать смело, что душа моя чиста и что я умею побеждать порочные ее наклонности. Меня сначала заинтересовала она просто как совершенно новое для меня лицо. Какая, в самом деле, привлекательная и опасная смесь добродушия, простоты, природного ума и... как жаль! по-видимому, самой испорченной нравственности! Особенно жаль мне старика-отца, который, кажется, так добр, что не подозревает ничего. Подумаю и, может быть, решусь, хотя исподволь, приготовить его к удару.

Сейчас пришел мне на память Подушкин. Как часто говаривал он мне, что я в высшей степени чужак, что я совершенно людей не знаю. „Да и откуда тебе их знать, — говаривал он, — где ты жил? кого ты видел? Был ты в гимназии — от товарищей удалялся, а с тех пор, как стал учителем, все сидишь дома над книгами. Этак, брат, жить не выучишься!" — „Может быть", — отвечал я всегда с грустной улыбкой, — но мне кажется, что наука жизни состоит в том, чтоб быть полезну по мере да-

рований и уметь быть счастливу для самого себя. Я тщательно исполняю свой долг, живу скромно и в тихой беседе с древними нахожу себе отраду.

Однако отчего же мне так грустно всегда? Отчего я беспрестанно жду чего-то тайного, далекого, точно какого-то ангела, посланного мне свыше, чтоб я мог с полной отрадой плакать на груди его? Отчего, особенно с тех пор, как я здесь, в деревне, не сплю покойно? Отчего какая-то тоска овладевает мною, когда наступает ночная тишина?

Михаиле Григорьич приписывает это волнению крови; не велел мне ужинать и даже смеялся этому очень лукаво, так лукаво, как я и не ожидал от такого почтенного старца. И все эта молодая девушка во сне!.. Боже мой, Боже! как душно и тяжело! не знаешь куда деть руки и ноги... Все ноет и рвется куда-то во мне... Неужели это простое брожение молодости?..»

Тут Иван Павлович бросил перо и, нечаянно взглянув в стоявшее на столе зеркало, увидел в нем себя.

«Нет, не присудила мне судьба красоты, —

подумал он, — теперь бы она была вовсе не лишним даром...»

Правда, в карих глазах его теплилось глубокое добродушие; улыбка несколько толстоватых губ была приветлива; черные волосы вовсе недурны, а смуглые щоки свежи без пошлой рыхлости. Чего бы, кажется? Но мы ведь очень редко умеем ценить в себе то, что нравится в нас другим.

А Маша была здесь, непобедимо, перед его воображением. То рисовалась головка ее, грациозно и непринужденно склоненная на сторону над работой, то стан ее, весь выгнутый назад, то черная коса из-под красной косынки, то заигрывающий взгляд бархатных темно-серых глаз ее.

«Боже мой, как она страшно хороша!» — думал он, изнывая.

И сам Непреклонный, которого уклончивая фигура, широкие шаровары, бородка и длинные кудри беспрестанно шевелились сзади всех мыслей Ивана Павловича во время записывания дневника, сам Непреклонный, разбивший своим появлением столько свежих и светлых мечтаний Ивана Павловича о

Маше, которые он с гордой радостью сбирался блестящим слогом сообщить потомству, и самый этот Непреклонный был забыт на минуту.

С четверть часа качался Иван Павлович на стуле, закинув на затылок руки и не открывая глаз.

Вдруг послышался шорох под окном и сдержанный смех.

Иван Павлович слегка вздрогнул и взглянул на окно.

Приподняв угол сторки и смеясь всеми чертами лица, как самый веселый и милый ребенок, выглядывала с надворья Маша, повязанная на этот раз простым белым платком.

Васильков хотел было огорчиться, но, вместо грустного лица сделал такое радостное, что Маша это заметила.

— Вот и засмеялись! — сказала она. Так-то лучше, батюшка! а то все смиренные ходите, даже страшно...

— Что вам угодно? — спросил Иван Павлович ласково.

— Да так, ничего! Сгрустнулось без вас... Все сидите да читаете, а я по вас все тоскую...

Твоя краса меня стубила, Теперь мне Божий свет постыл .. Зачем, зачем обворожила, Коль я душе твоей не мил?

Тут Маша приложила руку к сердцу и сделала такую уморительную гримасу, желая выразить на цветущем и живом лице своем глубокое отчаяние, что Иван Павлович забыл все благозвучные фразы своего журнала и захохотал очень громко.

— А вы знаете, зачем я пришла?

— Вы уж сказали зачем: чтоб на меня посмотреть.

— Это одно-с, — возразила Маша с достоинством, — а еще-с, звать вас гулять. Батюшка все с эstim с зверобоем... «Поди, нарви побольше... зверобоею мало!» Вот я и пришла за вами...

— Разве я зверобой, Марья Михайловна?

— Конечно, — протяжно отвечала Маша, видимо задумавшись и не слыша его слов.

Васильков несколько оскорбился. Он сделал этот ничтожный вопрос единственно с целью услышать какой-нибудь комплимент или вообще что-нибудь ласковое.

— О чем вы задумались? — спросил он ее,

взяв фуражку.

— Думаю, в какую рощу идти. Если пойдём к Покровскому — далеко; полем — жарко будет. А в эту — и то все языки чешут... Ну, да чорт с ними!

Маша опустила сторку. Иван Павлович вышел на крыльцо.

Через несколько минут, миновав довольно редкий бе-резник, часто служивший Ивану Павловичу убежищем в часы его тоски, вышли они на широкую межу, прямой и зелёной лентой пролегавшую через поля уже желтеющей ржи вплоть до песчаных холмов, усеянных бедным кустарником. За этими холмами была самая большая и густая роща во всей окрестности, небогатой лесами.

Маша шла с большой плетушкой в руке, напевая что-то, и глядела в землю. Иван Павлович глядел на Машу.

— Вот здесь на межниках какая-то мелкая трава все... ничего нет, — заметила Маша после долгого молчания, — а вот когда мы ездили с барыней в Нижегородскую губернию, там все по межам полынь растёт — ужась какая! ходить даже нельзя.

— Полынь? — спросил Васильков.

— Да, — отвечала молодая девушка, совершенно серьезно взглянув на него. — Полынь... это трава полынь... серая такая. Батюшка ее много собирает. — И, опять отвернувшись, она запела вполголоса прегрустную песню.

Так дошли они до самых холмов. Зверобоя тут не было, потому что он охотнее растет на сочных лужайках в рощах, но было много горной клубники.

Иван Павлович присел на сухую вершину самого высокого пригорка, и ему стало невыносимо неловко. Хотелось бы ему просто признаться Маше, что вот он как ее любит, от всей души, и какая жалость для него видеть, что такая милая и достойная девушка так дурно ведет себя, ездит по ночам в телеге с каким-то нахалом и шепчется с ним в темных сенях... что пропадет она даром, и некому будет отдать истинную цену тому богатству внешней красоты, которым одарил ее Бог. И как бы рад он был, если б мог, не говоря ни слова, хоть взглядом одним, дружеским взглядом упрека выказать ей всю внутреннюю полноту свою, всю досаду, всю ревность, всю

радость быть с нею вдвоем в таком пустынном месте!.. Между тем Маша нарвала для него целый пучок земляники и, смеясь, пода-ла ему благоухающий букет ягод.

— Опять насупились! Экой человек! Я та-кого чудака и не видывала. Все ему скучно!.. Вот нате, скушайте-ка. И о чем это вам гру-стить?

— Благодарю вас, — вздохнув, отвечал Иван Павлович, принимаясь за землянику. — Много, много есть о чем мне грустить, Марья Михайловна!

Маша села около него на землю.

— Ну уж ей-Богу, мне кажется, это вы так только! Право! на что б лучше? Вы человек с состоянием...

— Какое у меня состояние!

— Ну все же... — важно продолжала она. — Совсем другое дело — нежели, например, на-ша сестра. Еще вот теперь ничего стало... Что вы смеетесь? Я знаю, на что вы смеетесь. Вы думаете, что я всегда пошутить с каким-ни-будь другим человеком люблю? Это правда. Я характер такой простой имею. Завсегда даже люблю пошутить, а один Бог знает, сколько

слез пролила на своем веку... Что ж вы думаете, эти платья-то я хорошие стала давно носить — нет, батюшка мой Иван Павлыч, это только что, в Москве поживши, стала ходить как следует, а то прежде и в затрапезе да в крашенине не угодно ли... как девчонкой-то была... Барыня-покойница была добрая; это я иначе никогда не скажу; всегда даже молюсь за нее и помнить буду, потому что ласку от нее видела. А только вот вы небоись слышали, управляющего жена в Салапихине... вот знаете, вы еще ехали оттуда; сын ее и вез-то вас... долговязый, сухой такой...

— Помню, — сказал Иван Павлович.

— Ну вот мать его у нас главной девушкой была. Так это такая скаредная женщина, то есть чистый скаред как есть! Обидчица и ругательница! На руку, не поверите, какая дерзость. На мужчин даже, можно сказать, так и тарацила глаза — ей-Богу! А я, бывало, как подросла, еще ничего не понимала, а и то не давала спуску. Ведь я по десятому, не то по одиннадцатому году на волю-то пошла. Барин тогда батюшку отпустил вместе со мной. А то прежде-то толчков от нее и не оберешься:

стук да стук, только и дела постукивает да пощипывает ходит... Как есть злущая самая женщина... и теперь, говорят, такая же. Да теперь-то мы и сами себе голова!..

Тут Маша бойко прищелкнула пальцами.

— Теперь, как придем в Салапихино, — продолжала она с шутливой важностью, — сейчас тут все: «Ах-с! Марья Михайловна! Не угодно ли к нам зайти-с? Чайку чашечку... не побрезгайте». Конторщик — это дурак толстый, Антон долгоносый... все притащутся... и она тоже, то есть управительница, зовет к себе... Обо всем расспрашивать станет... Сама ослабится... Смех просто!..

Маша так увлеклась этой лестной для ее тщеславия картиной, что совсем и забыла грустный тон своего вступления. Она весело встала и, схватив за руку Ивана Павловича, заставила и его подняться с земли.

— А по-моему, знаете как? Скучно станет — гармонию да и плясать. Эх, завей горе веревочкой! Пойдемте-ка, что сидеть?.. Зверобой-то забыли...

Зверобоя набрали так много, что Маша не могла уместить его в плетушку: она наклала

полный передник, а лукошко взялся нести Васильков, который очень досадовал, что разговор перед вступлением в рощу принял такой невыгодный для него оборот и заставлял теперь его самого прямо выразить свою досаду на Машу, или, лучше сказать, на ее ночную прогулку.

— Вот вы говорили, что мне не от чего грустить. Хотите, я вам скажу, что вы много виноваты в моей грусти?

— Как-с?

— Я говорю, что вы заставляете меня грустить. Маша улыбнулась и не отвечала ни слова.

— Вам все равно? — спросил изумленный Васильков.

— Как все равно? Нет-с, мне очень даже жаль, — весело отвечала Маша, — я очень вами благодарна, что вы по мне тоскуете.

— Вы меня не поняли, Марья Михайловна. Я вам прямо... Зачем вы ездили вчера ночью с Непреклонным? зачем вы меня обманывали?...

— Ах! — воскликнула молодая девушка, вспыхнув, — вы разве видели?

— Еще бы! — с негодованием продолжал Васильков. — Вы бы посоветовали ему вперед быть осторожнее. Он прежде всего меня разбудил, закричал у меня под окном, звал вас.

— Ах он длинный! Хорошо ж! я ему задам! И она засмеялась.

Иван Павлович глубоко был возмущен этим смехом; он покраснел и дрожащим голосом начал:

— И вы можете смеяться! Впрочем, я сам виноват... Я справедливо наказан. Не надо было увлекаться несбыточными надеждами. Я думал встретить в вас любящее, деликатное, честное существо, с врожденным инстинктом доброго и высокого... Конечно, я понимал, что все это не обработано, но все же думал, что свежесть... Господи Боже мой, как вы меня обманули!

Маша с удивлением и боязнью смотрела на Василькова, который говорил с большой горячностью и не замечал, что употребляемый им в этом случае язык мало доступен его хорошенькой спутнице. Заметив ее недоумение, он замолчал и остановился (они в эту минуту были на том же самом пригорке, где си-

дели полчаса назад). Маша предложила отдохнуть. Васильков согласился.

— Чем же это я вас обманула, Иван Павлыч? — спросила она, опуская глаза в землю.

— Нет, не вы... конечно, не вы меня обманули: я сам обманулся, я и говорю, что я один виноват. Сказать ли вам все? С тех пор, как я здесь, я беспрестанно думаю о вас... Вы везде передо мною... Видите ли: вы редкая девушка. А всякая редкость дорога. Вы так добры ко мне и внимательны, так мило смотрите и еще милее говорите по-своему... Ей-Богу, я к вам от души привязался. Божусь вам, что я многого не могу вам сказать, потому что многого вы не поймете! И вдруг видеть — что же? что такая девушка, как вы, ездит по ночам в деревню к такому франту...

Маша не поднимала глаз и молчала.

Иван Павлович ждал, чтоб она хоть слово сказала в свое оправданье. Пускай идеал чистой, простонародной девушки разбит — уж так и быть! лишь бы она сказала что-нибудь дельное; пускай признается даже, лишь бы кротостью и раскаяньем сумела она дать ему право перед собственной совестью продол-

жать с ней дружественные сношения под видом отеческого сострадания к падшему существу.

— Конечно, — начала наконец Маша, обратив к нему необыкновенно серьезное лицо, — конечно, вы можете думать что-нибудь такое... Только хотите вы, Иван Павлыч, рсрить, я вам по чистой по совести скажу: ничего такого нет и не будет никогда! Мало ли их было, которые за мной ухаживали! Даже можно сказать, что многие страстно влюблены были, не то что один Дмитрий Александрыч, а и то никогда ничего дурного я в уме не держала, потому что я знаю, какие они... «Душечка, миленькая!» — пока любит сначала... А наша слезная сестра, если решилась, полюбила человека, да после если случилось что — ну и плачь, сколько хочешь: он и знать тебя не знает! Уж сколько я этого видела! Так знаете ли, Иван Павлыч, я так боюсь после этого всего; надежды, то есть, ни на кого не полагаю. Да оно и лучше, без греха по совести жить. Никто и сказать ничего не может. Я вам это от всего сердца говорю; хотите — верьте, хотите — нет!

— Я готов вам верить, Марья Михайловна. Зачем же вы потихоньку ездили ночью и с человеком, который за вами ухаживает?.. Ведь он за вами ухаживает: вчера я из своей комнаты слышал, как он вам в любви объяснялся.

— Уж как не слышать! — воскликнула Маша, махнув рукой, — У него голосище такой! Этакой скучный человек! Ничего не умеет сделать как надо...

— Вам досадно, что я узнал про ваше катанье?

— Конечно, досадно. Теперь вы будете беспокоиться в мнительности насчет меня. А то бы и еще покаталась в тележке. Я ведь смерть люблю кататься. Днем отец не отпустит, да и жарко, а ночью — отлично! Сено там скосили на покровском лугу — так хорошо пахнет!

— Если б вы знали, Маша, как мне больно слышать это!

— Ну, не буду, ей-Богу, не буду! Я не знала, право!

— И кататься не будете больше?

— Конечно, что без вас не буду больше...

Тут она засмеялась и лукаво заглянула в

глаза учителю, нагнувшись немного вперед:

— А поцаловать какого-нибудь другого человека можно, если попросит позволения или будет обещать подарить что-нибудь?..

Васильков, не отвечая ни слова, встал. Маша схватила его за пальто.

— Пойдите, пойдите! Я шучу; вы видите, что я шучу... я нарочно вас посердить... Господи, какой ревнивый! Это просто ужас!

Глядя на нее, Васильков сам развеселился.

— Я не имею права вас ревновать, — возразил он, — потому что вы меня еще не любите...

— Я? Вас? Что вы это? Я вас люблю, Иван Павлыч; ей-Богу, я вас люблю от всей души.

— Маша, Маша! за что ж?

— Я почему знаю за что? Люблю вот...

И милая девушка кончила свою фразу движением руки. В ликующем настроении духа воротился Васильков домой: все сомнения его насчет нравственности Маши разлетелись в прах.

Стрелой пронеслись за этим днем веселые две недели, где каждый день, каждый час, каждый миг был наполнен чувством, только

что пришедшим в сознание с обеих сторон.

Вот она, решенная задача... Вот лучшее объяснение всему, что волновало ум одинокого юноши и наполняло тоской по неизвестному его молодое сердце. Все слилось в одну стройную гармонию: и зеленые рощи на полях живописного хутора, и старец Михайло с разноцветными душистыми травами, приносящими здравие, и легкий восточный ветер, колеблющий писаную стору, и яркий звук Степанова рожка на рассвете, — все слилось в одно живое, веселое целое, сквозь которое прокрадывался один только звук, одна всеобъемлющая мысль...

Ничто не оскорбляло более Ивана Павловича; самая грубость Степана начала смешить его и доставляла лишний предмет для шуток и разговоров между влюбленным наблюдателем и словоохотливой Машей.

Непреклонный раза четыре был на хуторе в течение этого срока и бросал взоры на Машу, но она постоянно отворачивалась, улыбаясь только счастливому Василькову.

Добрый учитель, сознавая себя чем-то вроде победителя, старался развлекать Дмитрия

Александровича, и Непреклонный принужден был ограничиться серьезными разговорами о деревне и поэзии. Впрочем, он был весел и не показывал ничего особенного.

Журнала своего Иван Павлович не забывал: он записывал каждый вечер, перед сном, все впечатления дня, восторгаясь Машей и природой, природой и Машей. Впрочем, он был так беспристрастен, что мнения своего о необразованном классе не изменял, очень тонко и здраво заметив однажды, что первое, более серьезное чувство его к этой девушке зашевелилось именно потому, что она оказалась ему исключением. Он благодарил только судьбу тремя строками ниже за то, что не обманулся в Маше.

V

— Марья Михайловна, — сказал однажды, смеясь, Васильков, — я получил записку от Непреклонного. Вот его дрожки... Он зовет меня к себе.

— Что ж, вы поедете?

— Поеду. Отчего ж не ехать?

— Ну, поезжайте. Он вас угостит чем-ни-

будь...

— Угощение — вздор; а я надеюсь увидеть и узнать там много любопытного. Я хочу наконец постичь этого человека.

Маша на это не отвечала ни слова, потому что плохо поняла в чем дело, но улыбнулась очень мило, как и всегда, когда ей оставался только этот ресурс.

Васильков, слегка вздохнув, простился с ней и сказал, взяв ее за руки:

— Скажите, ради Бога, отчего это мне стало грустно с вами расставаться... даже когда знаю, что уезжаю всего на один вечер — как вы думаете? Думаете вы, что я вас люблю — а? Как вы думаете?..

— Я думаю, что я вас больше люблю, чем вы меня, Иван Павлыч...

— Вот странно! Это отчего?

— Опять-таки оттого ж!

— Отчего?

— Сама не знаю, отчего...

Иван Павлович быстро взял ее голову, поцаловал ее в лоб долгим поцалуем — и на сердце у него стало так свежо и чисто, как будто в самом деле какая-нибудь радость сле-

тела к нему в душу. Весело пошел он одеваться и еще раз пробежал записку соседа, чтоб хорошенько проникнуться ее внутренним духом.

Вот что писал Непреклонный:

«Милостивый государь Иван Павлович.

(Я бы назвал вас иначе, но вы не дали мне на то никакого права).

Говорят, Наполеон верил в звезду, светившую ему на сверкающем пути его побед... Говорят, он счел ее угасшею, когда, сказав грустное „прости“ берегам своей милой Франции, уносился вдаль по волнам, чтоб погибнуть от руки Альбиона. Говорят, наконец, что у всякого есть своя звезда... Верить ли или не верить этому грустному преданию, этой эмблеме? Каюсь и тысячу раз каюсь, я суеверен: я верю в звезду; но моя звезда, конечно, бледна и ничтожна в сравнении с звездою великого генерала Бонапарте... Однако извините, что я заболтался об отвлеченностях. Я просто хотел вам сказать, что давно желал вас видеть, но эти три дня был болен и не мог приехать на хутор; а теперь препровождаю к вам беговые дорожки с покорнейшею и нижайшею прось-

бою осчастливить мой домишко — „ради рома и арака“, — скакзал бы я кому-нибудь другому, но вам не смею этого сказать.

Мы поговорим побольше и пооткровеннее. Надеюсь вас видеть.

Ваш Непреклонный».

«Какие быстрые переходы! — подумал Иван Павлович, садясь на дрожки, — какой легкий язык! Совершенно литературный! Все тот же юмор!»

Деревня, в которой жил Непреклонный, была довольно скучная деревня; не стоит и описывать ее. Иван Павлович скоро приблизился к ней на беговых дрожках и, увидав соломенные крыши за седой зеленью развесистых раkit, обратился к кучеру с вопросом:

— Это ваша деревня?

— Эта-с Панфилки прозывается...

— Отчего ж она так называется? — спросил наблюдатель нравов.

— А кто ж их знает, зачем это они ее так назвали! Это еще их тятенька так назвали... Дмитрия Александрыча тятенька. Он чудак ведь был, старый барин!

В другое время Иван Павлович начал бы

непременно расспрашивать об этом старом барине: слово «чудак» могло подвинуть на подобные расспросы хоть кого; но влияние, которое имел сын на состояние его души в течение последних дней, было так сильно, что заставило его забыть покойника-отца со всем интересом чудачества, который он мог заключать в себе. Итак, Иван Павлович спросил о сыне:

— Ну, а ведь молодой-то ваш барин хороший?

— Хороший барин...

Подъехав к осевшему набок крыльцу, дрожки остановились. Иван Павлович сошел.

Никто не выходил к нему навстречу. Он задумался.

— Извольте идти, — закричал ему кучер, удаляясь на дрожках, — они там, должно быть, в доме.

Иван Павлович вошел в переднюю, вошел в другую комнату, почти пустую, с белыми штукатурными стенами к двумя акварельными картинами, которых он не успел рассмотреть. Увидев притворенную дверь, он постучался, не получил ответа. Дверь не была

заперта, и Васильков, толнув ее, очутился в спальне.

— А-а-а! — услышал он вдруг сзади себя.

Он обернулся. Непреклонный лежал, совсем одетый, на кровати в клетке, сделанной из деревянных рам и обтянутой кой-где белой, кой-где пестрой кисеей.

Хозяин поднялся с кровати и, отворив дверь своего убежища, весело приветствовал Василькова.

— Думаю, — сказал он, — если б я не послал за вами, вы никогда бы не собрались приехать сами кс мне.

— Помилуйте, на чем же приехать! Разве прийти...

— Конечно, я такой жертвы не могу и требовать от вас. Однако вы, вероятно, хотите чаю. Человек!

— Нет, благодарю вас.

— Полноте... Удивляюсь этим церемониям! Знаете, что эти церемонии могут иногда оскорбить хозяина дома — право... Человек! Человек!! Чорт знает, колокольчика нет никогда... Это может даже оскорбить хозяина дома: точно вы боитесь отяготить его стаканом...

Человек! человек!' О, Боже мой, что это за народ! Извините, ради Бога, я пойду отыщу кого-нибудь.

Непреклонный надел феску с огромною кистью, падавшей ему на плечо, и вышел.

От нечего делать Васильков стал осматривать комнату. Довольно было двух-трех взглядов, чтоб характер жилья был ясен. Хозяин был не домосед и не отличался любовью к порядку.

Кроме алькова из пестрой кисеи и белой марли, в комнате был стол, первоначально письменный, но потом обращенный в туалет, вероятно, потому, что деревенский образ жизни Дмитрия Александровича гораздо больше давал повод украшать искусственно телесные дары, нежели утруждать себя головной работой или многосложной перепиской. На всем столе, на зеркале, на бумагах, щотках, журнальных книжках и помадных банках лежал целый слой пыли. У двух перекосившихся окон благоухали в больших горшках кусты ерани.

На стене висели распластанные кожи двух лисиц, одного волка и трех зайцев, двустволь-

ное ружье, охотничий рог и очень хороший портрет Байрона. Когда хозяин возвратился, подали чай.

— Ну, как же вам нравится моя усадьба? — спросил Непреклонный. — Все довольно пусто и необработано...

Да что ж делать! Не успел еще привести в порядок. А именье превосходное: это клад, а не именье.

— Да, это правда, что пустовато, — отвечал Васильков. — Впрочем, я полагаю, вы мало занимаетесь им, проводите зиму в Москве...

— О, нет! этого нельзя сказать, чтоб я не занимался. Но, чтоб эта деревня была тем, чем она может быть, для этого надо капитал, а у меня пока еще нет его. Другой, на моем месте, давно бы впал в уныние, но я... — Непреклонный усмехнулся не без скромности и, вздохнув, покачал головой.

— Не хотите ли пройтись немного по дороге?.. Вечер будет прекрасный.

— С удовольствием, — отвечал гость. Они пошли.

— Вот, — начал Иван Павлович, окинув взором окрестность, — я только так говорю,

что деревня ваша довольно пуста, а сам бы счел себя счастливейшим человеком, если б мог иметь такую, даже меньше втрое. У вас сто душ? Это слишком уж много; с меня и тридцати каких-нибудь довольно, лишь бы жить в деревне спокойно и независимо. Настроение совсем другое: здесь городскому непривычному жителю откроется столько новых, животворных сторон... Непреклонный улыбнулся.

— Вы, может быть, станете сердиться на меня, если я вас разочарую, но я все-таки скажу вам: это вам кажется только, потому что вы не привыкли. Я сам когда-то жаждал природы, поэзии, и не нашел ее тут...

— Ах, Дмитрий Александрыч! великая разница вы и я: вы избалованы судьбой несравненно больше моего; вы привыкли к безбедной жизни, к столице, к женщинам...

— Отчего вы это думаете? Вы думаете, что я повеса, Дон-Жуан какой-нибудь?

— Я полагаю, что вы любите ухаживать за женщинами и много успевали и успеваете.

— Вы думаете? Кто же вам это сказал? Непреклонный пристально поглядел на свое-

го спутника.

— Никто. Припишите эту догадку моей прозорливости. Впрочем, это видно по всем вашим приемам, по вашей наружности.

Дмитрий Александрович весело захохотал и дружелюбно пожал руку учителю, который продолжал, указывая на окружавшую их картину (они шли в эту минуту по деревне):

— Видите ли, оно и неживописно, но в этой бедной природе есть своя глубина, своя красота — конечно, не пластическая, а чисто идеальная. Видите, как разбросаны избы и овины по скату горы, эта огромная промоина, которой один бок освещен закатом, вся эта тишина, это благоухающее сено, белокурые, полунагие дети... Согласитесь, что это прекрасно, хотя и томит душу тоской. Мне даже кажется иногда, что этот недостаток пластики в природе западает глубже в душу и рождает в ней такую горячую тоску по чему-то далекому, что силой чувства никогда не сравнится поэзия южных народов с поэзией северных.

Долго говорил с увлечением Иван Павлович о подобных общественных предметах, доказывая, как благотворна сельская жизнь, по-

ка наконец Непреклонный не спросил у него: может ли он надеяться когда-нибудь быть помещиком хоть крошечного имения.

— Едва ли, — отвечал Васильков. — Правда, у меня жив еще старик-отец; он скопил кое-как тысячи четыре серебром и доживает процентами с них; думать же когда-нибудь о его смерти я нахожу таким грехом, что не считаю этого капитала своим.

— Это делает вам честь; но все-таки капитал будет у вас; вот вам и деревенька; рублей с тысячу серебром наживете сами, и посмотрите, как заживете: тогда и науку в сторону.

— Бог знает, когда это будет, а науку никогда не брошу. В науке одно спасение для поэзии. Я имею свои заветные мысли насчет этого...

Непреклонный просил Ивана Павловича открыть ему свои заветные мысли, но тот почувствовал в эту минуту вечернюю сырость и, взглянув на край неба, где уже оставалась только золотая полоса под нависшей тучей, объявил, что на этот раз довольно, и просил дрожек.

— Куда вы спешите? Помилуйте, всего де-

сятый час...

— Пора, пора. Благодарю вас. Я лечусь, и мне в десять часов надо быть дома.

Непреклонный слегка улыбнулся в сторону и чуть-чуть было не сказал:

«Пора, пора! Знаю я, отчего тебе пора!»

Он был наблюдательнее Василькова. Однако, тотчас повернув домой, он велел подать дрожки.

Иван Павлович нашел Машу вместе с отцом на крыльце.

— Что ж, весело было? — спросила Маша.

— Да, он очень любезный хозяин...

Последняя, более откровенная беседа поставила Василькова относительно к Непреклонному в то положение, в которое попадает хорошенькая женщина, позволившая поцеловать себя в первый раз. Воротить назад и хотелось бы, да нельзя; итак, за невозможностью, утешим себя дальнейшим развитием дела.

Постоянно шуточный тон Маши, когда разговор заходил про белокурого льва, против воли настроивал и Василькова на тон сомнения, заставлял его часто взглядывать на

Дмитрия Александровича с более легкой точки, нежели собственная его натура была к этому расположена. В одну из минут подобного сомнения Иван Павлович пожалел было о своей откровенности, пожалел о том, что неосторожно, вопреки всегдашней скрытности, бросил на худую, может быть, почву семена, хранимые далеко от всех городских знакомых, но было поздно, и когда Дмитрий Александрович любезно и настойчиво потребовал подробного разъяснения задушевных идей, у Василькова не нашлось причины остановиться на полдороге и показать ему что-то вроде неудовольствия. Да и надо сказать правду, Непреклонный был вовсе не глуп, в самом деле, и возражал не топорно, как многие, любящие бросать грязью в самые заветные для другого предметы.

Итак, они чаще и чаще разговаривали между собою. Васильков, кстати, был очень рад случаю отдалять опасного молодца от Маши, и Непреклонный, казалось, охотно поддавался невинной хитрости.

Однажды Дмитрий Александрович приехал часов в девять вечера на хутор и, несмот-

ря на бесцеремонное замечание Маши: «Кто ж об эту пору приезжает!» — преспокойно уселся с ней и с учителем на скамью у порога, сказав только лукаво:

— Извините, мой дружок; я не знал, что помешаю.

Последовавший за этими словами веселый смех убедил и Машу, и Василькова, что в нем нет ни искры соперничества или ревности. Маша скоро оставила их.

Слово за словом, благодаря стараниям помещика, они попали на толк о литературе и ее судьбах у разных народов. Дмитрий Александрович декламировал об идеализме

Шиллера, об Олимпе Гете, которого он, однако, совсем не знал и кончил тем, что спросил:

— Послушайте, вы наблюдали меня? — Вас?

— Да, меня. Признайтесь откровенно, что наблюдали? Непреклонный схватил Ивана Павловича за коленку и

выразил на лице глубокое добродушие.

— Может быть, и пробовал; но согласитесь, что ваш вопрос странен.

— Полноте, полноте! — гордо, весело перебил Непреклонный, встряхнув кудрями. — Полноте, милый мой Иван Павлыч! Это смешно — церемониться! Я думал, что вы больше дитя природы и будете говорить откровенно. Вы наблюдали меня?

— К чему вы ведете все это, Дмитрий Александрович?

— К чему, к чему! О, хитрый человек! Послушайте, я вам сейчас скажу очень много откровенного, слишком даже.

(Здесь Непреклонный нахмурился, давая этим знать своему собеседнику, что внутри его шевелится борьба).

— Не думайте, — продолжал он, понижая голос и осматриваясь, — чтоб только одно тщеславие... О, если вы меня наблюдали, то должны понять, что у меня много страшной силы воли!

После этого он присовокупил таким же тонким голосом, каким Михаиле некогда заметил, что «ведь это удар!»

— Сила воли у меня даже преобладающая черта в характере; но я должен оправдать перед вами целый класс людей, на который вы

хотите наложить ваше клеймо. Разве вы не говорили мне, не дальше как третьего дня, что народ, потеряв патриархальность, теряет и поэзию в глазах образованного человека, что чистота и молодость должны идти вместе, а в женщинах простого сословия они нейдут вместе...

— Позвольте, — перебил Васильков, — я говорил, что редко...

— Нет, нет, вы говорили: никогда!

— Ей-Богу... — умолял Иван Павлович.

— Нет! Впрочем, постойте. В самые серьезные минуты нашей жизни не надо забывать практических предосторожностей. Надо посмотреть, не слушает ли нас кто-нибудь.

Непреклонный встал, посмотрел в сени: там не было никого; однако он затворил дверь.

Иван Павлович нетерпеливо ждал продолжения, но молодой помещик, сев на место, молчал несколько времени задумчиво, потом поднял вдруг взор на учителя и спросил отрывисто:

— Что вы думаете о Маше?

Васильков покраснел и не сразу собрался

ответить, боясь открыть голосом свое волнение.

— Что я думаю о ней? Я думаю... Кажется, она весьма милая девушка...

— Да, вкус у вас недурен! — улыбаясь воскликнул Непреклонный, — она действительно очень мила наружностью. Но я вам расскажу про нее вещи, которые покажут вам ее душу. Тогда только вы поймете, сколько доброго и высокого может заключать в себе необразованное существо. Пусть мой рассказ послужит опровержением вашему мнению!

Тут Дмитрий Александрович остановился и, еще раз взглянув на Василькова, продолжал:

— Вижу, вижу, как это вас интригует. Ну, так погодите же, я вам расскажу с условием: вы должны мне дать честное слово, что никому моего рассказа не передадите.

— Зачем же? Будьте уверены...

— Нет, нет! Как вам угодно, а без честного слова я говорить не буду. И вы много потеряете... Сами согласитесь: компрометировать девушку — бессовестно, если нет какой-нибудь важной причины. В этом случае я решаюсь

доверить вам тайну, но все-таки хочу огра-
дить ее... И поверьте, только одно убеждение,
что мои слова принесут пользу... Вы соглас-
ны?

— Извольте, извольте, если это необходи-
мо, — поспешил сказать Васильков, трепеща,
чтоб Маша, или кто другой не прервал своим
появлением разговора. — Даю вам честное
слово, что никому не передам вашего расска-
за.

— И прекрасно! Слушайте же. Надо вам
сказать, что я жил в Москве года два назад.
Маше было семнадцать лет. Она уж и тогда
была дивно хороша собой. Вы заметили, ко-
нечно, сколько души в ее взгляде, в ее улыб-
ке, — все это было и тогда. Красота ее порази-
ла меня; я не мог в нее не влюбиться. Я объяс-
нился, но на первый раз она отвечала очень
строго (после я узнал, что она с первого раза
глубоко, сильною страстью полюбила меня).
Трудность победы подстрекнула меня.

Мы разлучались, ссорились и сходились
вновь. Наконец... она все-таки меня полюби-
ла... Вы понимаете меня, Иван Павлыч? Ах,
как она любила и любит меня до сих пор! Ка-

кая страсть, какая глубина и, вместе с тем, какая сткрытность!.. Вы, я думаю, и не подозревали ничего, а между нами такая долгая связь... И даже я, который...

Но здесь пламенный рассказчик принужден был остановиться, потому что сама героиня его повести внезапно появилась в дверях с таким откровенно веселым лицом, как будто она и по правде была демон коварства или сткрытности.

Она предложила им напиток чаю. Никто не заметил лица Непреклонного в это мгновение, но он поспешно встал, наскоро пожал руку Василькова, который и не отвечал своей рукой на это пожатие, не взглянул на Машу, сказал, что у него болит голова, и тотчас же уехал.

Маша поглядела ему вслед.

— Что это с ним, Иван Павлыч? Вот сумасшедший-то человек... Приехал ночью... вдруг вскочит завсегда... Иван Павлыч! а Иван Павлыч!

Но Васильков в свою очередь поднялся со скамьи осторожно, молча, отодвинул Машу рукой от двери, которую она заслоняла, и бро-

сился в рощу.

Изумленная Маша постояла в сенях, подумала, подумала^{ла} и пошла одна пить чай, приготовленный ею с таким удовольствием для молодых людей, чтоб наградить одного за любовь, другого за тот веселый смех — признак удобного для нее равнодушия.

Так вот оно что! Вот к чему повели все эти беседы с глазу на глаз, эти улыбки, вся ласка, доброта и ум! Безумец! что выдумал ты из всех своих дум: влюбиться, в кого же? В необразованную женщину, бесстыдно наругавшуюся над искренней привязанностью честного человека... Стыд, стыд слепому глупцу!.. И что остается ему теперь? Что делать? Одно, одно средство: бежать, бросить все — и декокт, и купанье, и деревенскую, развеселившую было его природу. Бог с тобой, грубая, коварно-грубая Маша!

VI

Следующий день был воскресный; утро ясное, и звон колоколов весело прилетал из села через луга и пустоши.

— Голубчик мой, Иван Павлыч, о чем это

вы грустите? — ласковым голосом говорила Маша, стараясь отвести руку Василькова, которую он упорно закрывал лицо.

Но рука не повиновалась ее ласке.

— Видите, какие вы здоровенные: и руку ни за что не оттащишь, а еще тоскуете...

Но и к шутке был глух Васильков. Маша села около него.

— Вы, может быть, тоскуете о том, что скоро ехать? Да ведь вы говорили, что недели две еще пробудете. Или вы на меня за что-нибудь сердитесь? Я, ей-Богу...

Васильков отвел руку, и Маша увидела бледное лицо его.

— Что с вами, Иван Павлыч? Вы нездоровы?

— Оставьте меня! Бог с вами! оставьте меня!.. Я завтра еду отсюда. Вещи уложу сегодня с вечера. Мне здесь нечего делать!

Настало молчание.

— Конечно, — начала Маша, закинув назад голову довольно гордо (голос ее при этом стал немного потолще обыкновенного, для выражения мужественной решимости). Конечно, в деревне очень даже скучно; в городе... как

можно! Там барышни хорошенькие, не то, что мы, простые, деревенские. Как вам угодно... поезжайте. Я знаю, что вам все равно...

«Что это за женщина! — подумал Иван Павлович! — чего она хочет? Может быть, она сделала проступок по молодости, а теперь полюбила меня чистым чувством и хочет скрыть от меня только прежнее?»

— Послушайте, — продолжал он громко, — вы говорите как дитя... Я любил вас... Я, я даже и теперь простил бы вам, если б вы мне признались во всем... Я знаю все, но я хочу, я требую откровенности!

— Какую же я вам еще сделаю откровенность, Иван Павлыч? Я вам все говорила; говорила вам, как кто за мной волочился и кто влюблен был — все, как есть, говорила...

— Все? Полноте, Маша! Вспомните, что я завтра еду, и мне хотелось бы знать по крайней мере, что у вас благородное сердце. Когда я все знаю...

— Мудрости в этом нет, что вы знаете, когда я сама вам все говорила; а помимо этого вам и узнать нечего, потому что могу перед Богом сказать, что совесть моя чиста (она по-

качала головой и на минуту задумалась). — Что бы это за вещь такая была?.. Вы скажете мне, голубчик, правду, если я угадаю?

Откровенный взгляд и детская улыбка, озарившая вдруг прекрасное лицо, вместе с простодушным вопросом разбудили в душе учителя все надежды. Все встрепенулось в нем, и он, боясь нарушить слово, связавшее его, поскорее встал и промолвил:

— Нет, нет, я ничего не скажу!

Маша не тотчас пошла за ним; она посидела с минуту, подумала и, вскочив, бросилась в сени, по которым подвигался он медленно, соображая, как бы поскорей увидеть Непреклонного и заставить его снять с него это проклятое слово.

— Погодите, погодите! — смеясь, говорила Маша. — Я теперича догадалась... Вам на меня насочинил что-нибудь такое этот длинный? Признайтесь. Он ведь и мне самой сколько раз говорил, что, должно быть, я нечестного поведения, потому что, говорит, перед ним очень уж скромничаю... Я это так, ей-Богу, полагаю, что он, потому что он сочинитель и выдумщик ужас какой! Одним только языком

и живет. . Он на одну из благородного звания даже раз в Москве выдумал... Но только вы поверьте мне, Иван Павлыч, что я честная, честная как есть девушка! Вот образа, жаль, нет... да Бог видит! Ну, послушайте: дай Бог, чтоб я умерла здесь, с места бы не сошла, если я лгу и коварные слова говорю... Я знаю, что вы сами думали часто, что я нехорошего поведения; только на вас я не сержусь, потому что вы добрый человек, и завсегда скажу...

Однако на этот раз она не сказала больше ни слова, потому что Васильков осыпал ее поцелуями.

Объясним же все, как было в самом деле, чтоб читатель мог знать, кто из действующих лиц прав и насколько. Действительно, Маша кой-что утаила от Василькова: она не сказала ему, что было время, когда Непреклонный немного ей нравился. Горничные любят внимание мужчин, как все женщины, которых судьба не баловала большим количеством услужливых и нежно-подобострастных поклонников; а Дмитрий Александрович был два года назад гораздо свежее и лучше лицом. Он жил тогда в Москве и, благодаря тому, что

в столице охотно менял поэтическую размашистость шаровар, разговора, кудрей и арапника на весьма приличный и скромный тон, был довольно хорошо принят в дом Машиной барыни, как деревенский сосед

представительной наружности. Случилось так, что небольшая квартира Непреклонного была во флигеле дома, который нанимала эта госпожа. От молодого человека не ушла красавица Маши, не ушли от глаз его движенья, чуждые сельской увальчивости и тех ужимок, без которых редко обходится городская дева, не ушел от ушей его веселый смех ее и милая, простодушная болтовня. Непреклонный чаще стал проходить по двору мимо девичьего окна, чаще и в доме заходил в девичью, под предлогом спички и папиросы, несмотря на то, что у барыни в кабинете стояли кучи всяких зажигательных штук, несмотря на опасность попасться молодой хозяйке и заслужить название неприличного мовежанра.

При красивой наружности и способности балагурить он, может быть, успел бы, если б чувствовал хоть немного искренней нежно-

сти и выражал ее в словах и поступках' она затрогивает иногда доброе, хотя и неразвитое сердце. Золотом ослепить он, конечно, не мог, а терпения было мало; уезжал на день, на два куда-нибудь — и Маша была забыта; то надо-едал ей излишней навязчивостью и баловал подобострастием, то сердился на нее за неуступчивость и, поклявшись накануне в вечной, грустной любви, предпочитал на глазах ее какую-нибудь легкую победу трудностям борьбы с нею. Скучать она без него не могла, когда он дулся, или изменял, потому что везде было много любезников, и самолюбие ее было спокойно. Раза три он пробовал раздражаться страстными декларациями, но на них Маша отвечала сперва смехом, потом стихами, вроде следующих:

В понедельник я влюбился, Весь авторник прострадал,
В середу в любви открылся, А в четверг ответа ждал
Пришло в пятницу решение, Чтоб не ждал я утешенья
Во грусти, во досаде, Всю субботу прострадал и т д

В третий же раз она просто рассердилась и сказала, что ей всего 17 лет, и глупо было бы ей жить не по чести, когда у нее есть ста-

рик-отец и много родных и когда она знает, что он все это вздор говорит .

Дмитрий Александрович взбесился, разбил ее и отстал. Скоро уехала она с барыней в Нижегородскую губернию, а он отправился к себе в деревню.

Здесь они опять встретились через год, и новые неудачные попытки заставили Непреклонного обратить внимание на Алену, свести с нею дружбу, чтоб, посредством ее наставлений, покорить жестокосердную Алена была снисходительна к молодым людям, живо сочувствовала страданию Дмитрия Александровича, особенно с тех пор, как, один за другим, явились к ней сперва кусок розового ситца, потом кусок пунцового и наконец большой шерстяной платок, и потому тотчас же приступила к Маше с добрыми советами. Часто говаривала Маше Алена (еще до приезда учителя):

— Чего тебе еще? Человек добрый, из себя молодчи-нище! Зажила б припеваючи.

— Ну, убирайся ты с своим молодчинищей! Шля бы сама к нему, коли так глаза твои прельстил. Надоела, ей-Богу! Как это тебе не

стыдно!

Васильков встревожил Алену. Она стала присматривать за ним и без труда заметила его частые беседы с Машей, особенно, когда Михайло уезжал к больным. Иван Павлович, хотя и подходил к Маше с совершенно чистой душой, но все-таки присутствие старика, которого маленькие глаза так и бегали, наблюдая лукаво за всем, несколько стесняло его.

— Плохи мои дела! — воскликнул раз Непреклонный, войдя в избу к Алене и с досадой разваливаясь на скамью.

— И-и-и! Что вы это? Как вам не грех? — возразила Алена, — Такой молодой кавалер и говорит: «дела плохи». Чем же плохи? Слава Богу: живы, здоровы; рожь я намедни видела у вас сама: во-о-о какая! Стоямши схоронишь-ся..

Непреклонный улыбнулся.

— Полно вздор молоть... Такая досада! хлопчешь, хлопчешь два года! Готов и денег больших не пожалеть... Право!

Тут он встал и начал быстро ходить по избе, заложив руки за спину.

— Да, — говорил он, — я, матушка, так при-

страстился, что беда. Не знаю, как и быть...

— А вы бы за этим за молодцом-то приглядывали: он что-то уж больно подъезжает. Разговоры такие, нежности пойдут...

— Ты думаешь? Он, кажется, малой смирный, такой тихий человек. Я и сам сначала побеспокоился, да потом... Где ему!

— Ну, это как вам угодно! Это дело ваше. А я смекаю по своему по глупому разуму, что это так-с.

— А если это правда, — задумчиво сказал Непреклонный, — так мы увидим!

Он бодро встал, простился с Аленой и, весело насвистывая вальс, вышел из избы.

Через два дня план его был готов, а через три, убитый неожиданным разочарованием, Васильков с тоскою внимал поэтическому рассказу Непреклонного о страстной любви, благородстве и небывалом такте невоспитанной героини. Не подозревая в Василькове серьезных намерений, молодой волокита решился на такую хитрость без труда, зная хорошо, что Маша для него пропадет, если Васильков не сдержит того слова, которое он намеревался взять с него предварительно, и ни-

как не воображая, чтоб молчание и удаление от нее были для Ивана Павловича труднее, нежели для него самого. Значит, можно надеяться, что он будет строг к себе и, натолковав кучи вещей об убеждениях, честности и философии, не захочет ударить себя лицом в грязь из-за пустой интрижки. Вот как было все это дело.

Когда Маша увидела, что Иван Павлович тронут ее клятвами и так жарко благодарит ее, то спешила воспользоваться смягчением его духа и настойчиво приставала к нему, выпытывая секрет. Но Васильков был шутлив и непоколебим.

— Ну, намекните хоть крошечку, — говорила Маша, — я сейчас угадаю... Кто вам на меня насажал? Дмитрий Александрыч? Я знаю, знаю, что это он, потому что это сейчас даже видно... потому что вы вчера с ним разговаривали, а после не стали говорить со мной... Он, он, уж я знаю... Вот вы улыбнулись...

— Дитя вы, дитя! Я улыбнулся потому, что меня смешит ваше любопытство; смешно то-

же, что вы по пустому вините бедного Дмитрия Александрыча. Это я сам комедию разыграл, чтоб вас помучить.

— Ну, Бог же с вами, если так! А я все-таки его попытаю, спрошу у него при вас, не говорил ли он чего.

— Как хотите! пожалуй! — схитрил было Васильков, — только вы этим наделаете мне неприятностей.

— Не бойтесь, он вам ничего не смеет сделать. Посмотрела бы я, как он вас тронет!

Иван Павлович засмеялся.

— Я не боюсь его, а не хочу, чтоб вы его чем-нибудь обидели, когда он не виноват. Послушайте, — прибавил он, как мог убедительнее, — поверьте же мне, что Дмитрий Александрыч не виноват. Впрочем, скажите мне, что вы думаете?

— Я вам скажу, что я в уме в своем держу. Мне, вот видите, как сдается... Вы этак громко разговаривали... Может быть, спросили у него что-нибудь про меня, потому что вы очень мнительны насчет меня; он вот вам и сказал, что я нечестна... Он разве мне этого не говорил? Сколько раз твердил, что у меня ферт

есть. Ей-Богу! он такой!

— Какой вздор! Мы с ним говорили вчера об охоте: оттого он так и горячился, — возразил учитель, делая себе внутренне различные комплименты насчет своей увертливости.

Разговаривая таким образом, они и не заметили, что у огородных дверей стоит кто-то в розовой рубашке, надетой

по-русски сверх плисовых шаровар, в суконном черном жилете и фуражке. Владелец этого щегольского наряда долго стоял неподвижно у дверей и, только заметив движение Василькова, собиравшегося уйти, отошел с поспешностью от крыльца.

Иван Павлович направился к реке и не встретил его; но Маша вышла к огороду и тотчас же узнала Антона, сына садовника из села Салапихина.

Поставив на завалинку корзинку с ягодами, Антон снял фуражку.

— Здравствуйте, Марья Михайловна, здравствуйте.

— Здравствуй, — сказала Маша и села. Антон надел фуражку и подперся.

— Здравствуй, Марья Михайловна. Ишь вы

ноньче как закурили!

— Как закурила?

— Закурили больно-с, вот что! загуляли! с господами загуляли!

— Ведь что это твой нос-то выдумает! Как это даже не стыдно говорить это!

— Да, так-с. Нос-то мой ничего не выдумывал, а глаза видят, и люди говорят.

— Язык твой без костей, — строго возразила Маша, — я дивлюсь, как это он не отсохнет у тебя врамши! Ну скажи: где ж я загуляла?

— Где, Марья Михайловна? Да везде-с! Маша засмеялась.

— Видишь, какой твой нос бесстыжий... (Я забыл сказать, что у Антона нос был довольно римский).

— Нос мой всем известно какой длинный, — вздохнув и отворотившись, продолжал Антон, — а вот ваш-то носик, на что уж махонький, ну а все же равно вы грешите, да еще и запираетесь, а других бесстыдными зовете!

— Да, что с тобой?., (тут Маша стала снова серьезна лицом) Я даже просто не понимаю!

— Вот вы как непонятны стали!.. То-то и

есть, пошел кувшин по воду ходить, тут ему и головушку по-

дожить, говорится пословица, Марья Михайловна! Разве ^{ва}с не видали, как вы день-деньской гуляете с этим с барином... учитель он, что ли, у вас?.. А вот, что про вас молва идет худая, эвто даже очень больно и при-скорбно слышать... Вчера прихожу к управительнице с вишнями, ^а она с первого-таки с самого разу и огорошила: «Ну, что, говорит, хваленая ваша умница московская да франтиха?».. Я и ума не приложу на первый случай, о чем это старуха брешет. ан оно и вышло, что про вас... и и-и-их!

— Большая мне нужда, что твоя управительница говорит! Я даже очень мало обращаю внимания на ее глупые слова. Она, можно прямо сказать, только языком ехидни-ческим своим и живет! Кабы не язык ее гадкий, чем бы ей кормиться-то было? А по мне знаешь ли что? По мне вы все хоть зубы поскуйте себе злимшись — мне все равно... Я на вас на всех внимания на салапихинских не обращаю.

— Это так, Марья Михайловна, — грустно

скрестив руки на груди, начал Антон, — точно, что она злостьючица, а все-таки, пока нечего было сказать и не говорила. Вот про Непреклонного, про Дмитрия Александрыча, говорили тоже, да веру никто не прилагает к этим к словам пустым... А почему это? Потому никто вас с ним не видал, никто и не может истинную правду, то есть, знать. Говорит один, говорит другой, сказал да и к стороне. А оно, может, и правда! Вот мальчишки на ночной были, на запрошлой неделе, али с месяц — божатся, говорят, видели вас с Дмитрием Александрычем в телеге. Да то мальчишки; а это я сам видел, как пальтище его белое раздувается по кустам... Да и кто он, Господь его знает! Это и я, коли по совести безо всякой похвальбы сказать, лучше его хожу...

(Антон погладил рукой сукно жилета).

— Большая мне необходимость, — возразила Маша, вставая, — как ты ходишь! Ты думаешь, я за тебя замуж пойду? Это вздор! Ты этого и не думай! Кабы ты был

тихий человек или добрый, еще бы ничего, а ты что? Что смотришь? Глаза по плоске, не видят ни крошки.

— Глаза-то-с? — спросил Антон хладнокровно, — я еще не хочу рассказывать все... стыдить вас, срамить не хочется, а глаза много видели.

— Ступай, ступай, скучный ты человек! Надоел... И ягод твоих не хочу! Возьми плетушку, ступай...

Антон наконец рассердился.

— Ну, Бог же с вами, коли так! Стыда-то у вас нет... Другая бы сторела давно! Цаловаться в сенях, в темных — одно только это и знаете!

— Ступай, ступай! — воскликнула Маша, покраснев до ушей, и глаза ее даже наполнились слезами, — ступай и не смей никогда со мною говорить, рта не смей...

— Эх, погодите маненечко! еще поклонитесь, как заговорю...

В эту минуту Дмитрий Александрович подъехал к огороду на своем красивом жеребце. Он попросил Антона взять лошадь, а сам, серьезно и небрежно кивнув головой в сторону Маши, направился к крыльцу.

Васильков, гулявший до тех пор по берегу, услышал шаги лошади и, боясь расспросов, которыми грозилась Маша, спешил встретить

задумчивого всадника.

— Пойдемте куда-нибудь... Хоть сюда, в рощу, — сказал Иван Павлович, с несвойственной ему быстротой схватив его под руку.

Непреклонный повиновался молча и пасмурно.

— Вам ничего не говорила Маша? Не спрашивала вас?.. Впрочем, я не нарушил слова.

— О, понимаю, понимаю!.. Признаюсь, это была воинская хитрость... Вы вполне были бы правы, нарушив слово... Но я никак не ожидал, чтоб намерения ваши были так серьезны.

Васильков слушал его с изумлением.

— Позвольте, — продолжал Непреклонный, вынимая руку из-под руки учителя, — я уйду теперь; я вам объясню все после подробнее. Скажите только, таковы ли в самом деле ваши намерения? Вы не прочь жениться на ней?

Говоря это, Дмитрий Александрович не смотрел на Ивана Павловича и хлопал бичом; Иван Павлович смотрел на березу и старался с большим вниманием оторвать от коры кустик серого мха.

— Иван Павлыч, что ж вы молчите?

— Да, — отвечал Васильков, — хоть я и не знаю, захочу ли привести эту мысль в исполнение, но знаю, по крайней мере, что, кроме этой мысли, я на эту девушку никаких намерений не имею.

Дмитрий Александрович наклонил голову.

— Только я и хотел знать. Простите меня и прощайте... Я напишу вам.

Он пошел было, но Васильков (который наконец оторвал мох так аккуратно, как будто собирался его послать в ботанический кабинет в виде редкости) остановил его, вдруг обернувшись с словами: «дайте же руку!»

Руки были крепко сжаты с обеих сторон. Васильков произнес тихо: «право, я не нарушал слова»; а Непреклонный только усмехнулся не без горечи.

Он расстались, и минуты через три страшный на этот раз стук копыт возвестил всем жителям хутора, что Дмитрий Александрович не остается обедать.

Теперь вопрос: как узнал Непреклонный о том, что намерения Василькова несравненно серьезнее его победоносных планов?

Предусмотрительная Алена не захотела терять времени и тотчас же придумала, что отеческая власть Михаила может разом положить конец излишней близости учителя с дочерью. Она, при первом удобном случае, начала толковать дяде о своем беспокойстве за судьбу Маши и изъявлять опасения насчет постояльца.

Михайло усмехнулся и отвечал:

— Эвто ничего; я в эвтом ничего такого не вижу, как есть ничего!

— Бона какой! еще лекарь... Да ты бы себя полечил, себя,самого! У тебя днем куриная слепота. Глаза у тебя завсегда маленькие были, а уж со старости и вовсе не глядят.

— Хорошо, хорошо! любо! Бреши, что знаешь... А он мне совсем другое предвещает. Он мне даже ужасно много хорошего предвещает! Не такой человек. Человек самый натуральный, как есть. Намедни пришел, то есть, ко мне и говорит-таки мне самому в глаза: «А как,

говорит, вы думаете, то есть, Михаиле Григорьич, насчет этого, когда, говорит, мужчина любит простую девушку и с ней законным

браком соединится?» А я ему сейчас и говорю: «Ну, что ж, батюшка, Иван Павлыч, счастье разное бывает людям; бывает, что и хорошо живут», — и пошли толковать! Так он, что ты думаешь? «Вы поверьте, говорит, моему мнению; я хоша и молодой человек, то есть, еще жизнь не искусил, потому и люблю, говорит, с вами посоветываться, то есть, что вы человек почтенный...» Ей-Богу, право! Я сам насчет его имею свое пронырство!

В утро, на котором прервался наш настоящий рассказ, Алена, возвращаясь от обедни, встретила всадника, спозаранку спешившего насладиться первыми плодами своих трудов и утонченного плана. Она тут же передала ему слова дяди.

Искреннее, нестерпимое угрызение проникло в душу молодого помещика. Что, если в самом деле несчастный Васильков хотел жениться, и теперь, связанный честным словом, не смеет сообщить ей то, что терзает его? Да нет, нет, он как дважды два не утерпел и рассказал!

Однако ведь и то нельзя забывать, что он так рыцарски на все смотрит...

Напрасно старался Непреклонный убедить себя, что это к лучшему, что это может спасти юношу от неравного брака, который ему казался все-таки чем то диким и едва ли способным принести хорошие плоды, тихую и по крайней мере дюжинно счастливую жизнь. Он было и решил уже, подъезжая к огороду, что все к лучшему,

но вдруг увидел Машу... Душа его стеснилась и ощутила такой стыд, что он хотел было ей самой тотчас покаяться в своем гадком поступке. Присутствие Антона удержало его; дальше мы знаем, что было.

Между тем Иван Павлович, проводив соперника, вернулся домой, и Маша тут же излила всю свою досаду на человечество, на Антона, на салапихинских, даже на отца, который, по наговорам садовника, успел ее побранить. Васильков понял, что он любовью и предварительными прогулками с наблюдательной целью умудрился компрометировать ее гораздо больше, нежели Непреклонный всем своим лживым пафосом. Кой-как добился он до того, что навел улыбку ей на лицо.

VII

После всего этого Василькову надо было сообразить внимательно следующее:

Он компрометировал Машу. Компрометировать женщину, которая многим нравится, повредить на минуту ее доброй славе, когда имеешь в руках возможность все поправить одним только словом — дело лестное для новичка, как бы деликатен он ни был!

И наш мыслитель немного гордился, чувствуя свою силу. Что удерживало его от последнего решения? Ведь оно не раз уже уяснялось для него; не раз видел он, что Маша может быть его женою. Маша добра и редкого природного ума девушка.

«Разве я не в силах — думал молодой человек, — развить ее и довершить начатое природой? Разве я не могу слить в себе учителя с мужем? Кто потребует у меня отчета? Я один на свете... Мне обещали на будущий год место: жалованья будет довольно при таком счастье... Да,

это счастье (продолжал он), счастье высокое — следить за первыми проблесками просвещения в таком милом создании... Притом

же, если расчесть даже эгоистически, чего мне бояться? Она добра и привязчива; она будет всю жизнь благодарна мне за то, что я ей доставлю...»

И не раз, однако, такое решение умирало в нем от неуверенности в одном — в нравственности Маши.

Но последние происшествия совсем покорили его; врожденная осмотрительность замолчала, и Васильков положил крайним сроком завтрашний день для окончательных переговоров.

Вечером, запершись у себя, он долго писал, потом усердно помолился Богу и спокойно заснул.

Маша шила, сидя на пороге и, думая обо всем случившемся, сохраняла еще некоторую суровость в выражении лица. Иван Павлович начал с того, что заметил ей насчет этой суровости.

— Да ей-Богу, досадно, — возразила Маша, — ну, что я их трогала, что ли?.. Пристали, зачем с вами гуляю... насочинили Бог знает что... Вот уж гадкий какой народ здесь! так и норовят сочинить про человека или выду-

мать еще что-нибудь... Я думаю, теперь сала-
пихинская прика-щица рада как! Господи!..
Э^ой только скажи: она уж задаст...

— Да что вам до этого?

— Вам легко, Иван Павлыч!

— Позвольте, это вы напрасно думаете, что
мне легко. Мне, может быть, труднее вашего
слышать, как про вас злословят... Мне это
очень, очень больно. Я говорю только, нельзя
ли как-нибудь это поправить; напрасно вы
уж слишком близко к сердцу принимаете...

— Я и поправлять ничего не хочу. Бог с ни-
ми совсем, пуцай себе говорят!.. Я еще и вни-
манья своего не хочу обращать...

Васильков улыбнулся.

— Ну, вот, так-то лучше. Однако я пришел
спросить у вас кой о чем поважнее...

Маша поглядела на него уже развеселив-
шимся лицом и
ждала.

— Марья Михайловна... Маша! — начал Ва-
сильков,

невольно опуская глаза, — если о я за вас
посватался, дошли бы вы за меня?

Маша вся вспыхнула и не отвечала.

— Пожалуйста, не спешите отвечать, совсем не нужно. Подумайте и скажите мне откровенно, хоть завтра, я буду ждать; мне это ничего.

Маша опять не сказала ни слова, но только поднялась с места, хотела идти и вдруг, закрывшись фартуком, заплакала.

Васильков вскочил быстро и начал отводить руки ее от лица, приговаривая:

— Маша, о чем вы плачете? Полноте; неужто я вас обидел? Марья Михайловна!.. Маша!..

Маша грустно покачала головой и отняла фартук от глаз.

— Вот уж, можно сказать, я несчастная. Ну, да пускай Божья воля надо мной исполняется! Он дал — Он и возьмет.

— Да что с вами?

— Как что со мной, и вам не грех надо мной смеяться?.. Разве затем я вам все свои тайнства и секреты открывала, чтоб вы надо мной насмешничали? Грех вам такими вещами шутить, Иван Павлыч! Я хоть и простая, дура даже какая-нибудь, может быть, а все-таки я знаю, чего один человек супротив друго-

го стоит. Я знаю, что я от вас насмешек не заслужила; тут и без того отец бранится, в селе Бог знает что говорят... думала с вами душу отвести, а вы...

— Да что вы? что вы? Я нисколько не шутил, я говорю очень серьезно. Садитесь, послушайте, я уже давно хотел вам это сказать, но, сами согласитесь, нельзя же вдруг, не обдумав ничего. Еще как только я приехал, вы мне понравились вашей наружностью, а после я стал наблюдать за вами, увидал, что у вас доброе сердце, что вы

умная девушка. Всего не расскажешь, что я передумал.. Одним словом, я решился жениться на вас, если вы согласитесь; батюшка ваш, я полагаю, согласится.

— Если б... — сказала Маша, засмеявшись; потом задумалась так, что даже темные глаза ее немного скосились, уставившись на камень, который, в забытьи, она катала перед собой концом ноги.

Васильков с нетерпением ждал ее ответа. Как ни был он скромн, все-таки не мог ожидать ничего, кроме согласия и притом довольно радостного. Здравому смысла у него доста-

вало настолько, чтоб Маша не упала в его глазах, если б выразила свое согласие с неприглядным удовольствием. Надо иметь очень избалованное сердце, чтоб уважать и любить только отталкивающих нас женщин...

— Очень вами благодарна, — начала наконец Маша, — то есть даже так благодарна, как я вам даже не могу и сказать, потому что я знаю, что вы добрую душу имеете и любите меня ужасно. Только вот что... (тут она опустила глаза и покраснела) вы теперь это так говорите...

— Вы полагаете, что я способен вас обмануть? — с негодованием воскликнул учитель.

— Нет-с, не то; а то, что вы после жалеть будете. Все равно, как наша сестра влюбится, согласится на все, что угодно, а после и плачет на свою долю. Вы можете завсегда взять за себя богатую, добрую...

— Помилуйте, ведь я вас люблю!..

— Я знаю, Иван Павлыч, что вы меня любите теперь... только я боюсь...

— О, нет, нет! Будьте уверены, Маша, что это плод глубокого размышления... то есть, я долго, Маша, об этом думал. Я знаю, что я де-

лаю; я вас прошу, ради Бога, не противоречьте мне больше; скажите, что вы согласны, что вы верите моей вечной, вечной любви...

— Верю, верю!

— Вы согласны?

— Согласна...

— Благодарю, благодарю вас, Маша! Я пойду к вашему батюшке.

Васильков поспешил встать; но Маша, к которой в эту минуту вдруг вернулась ее ребячливость, схватила его за пальто, говоря:

— Ах, нет, постойте, не ходите, постойте, постойте... я вам что-нибудь скажу.

— Что такое?

— Не ходите. Зачем теперь рассказывать? Я лучше после сама... а то будут смеяться.

— Перестаньте, Маша, шалить, пустите. Я хочу поскорее кончить дело.

Маша выпустила из руки пальто, засмеялась и закрыла лицо руками.

— Господи, что это за смех! Ни с того, ни с сего невеста; просто все смеяться будут.

Но Васильков летел к отцу.

Михаиле после этого вдруг закурил сигару, забежал на минуту к Алене, пожурил ее за

недоверие к Василькову, сказал, что он даром никогда ничего себе не предвещает, и еще раз сообщил ей, что пронырства у него не оберешься (все это он говорил, почти не изменяясь в лице), запрет лошадь и загремел в село.

Когда вечером стадо вернулось с поля, Алена вынесла на двор подойник и, сев на скамейку, сказала мужу:

— Степаша, а Степаша!

— Ну что? — спросил тот, почесывая под ложечкой.

— Маша-то в гору пошла: учитель берет за себя.

— Ну, врешь!..

— Ну, врешь! — передразнила жена. — Ты вот только врешь да брешешь, а я говорю дело: ей-Богу, женится.

— Ишь ты! — воскликнул Степан хладнокровно; потом, обратясь к пегой корове, которая слишком близко замычала около него, и, закричав на нее со злобой: «ну, ты живоот!», попер ее очень сильно собственным боком.

Вечером пришла записка от Непреклонного. Иван Павлович читал ее Маше, объясняя темные для нее места (он уже успел описать

ей проделку Дмитрия Александровича, убеждая ее не сердиться за прошлое, которое никакого вреда теперь принести не может):

«Прежде всего — простите! Простите, если, увлеченный пылким темпераментом, я хотел увлечь в сети ту женщину, которая была вашим идеалом. Верьте, Иван Павлович, что маска легкомыслия, которую я надеваю при женщинах — только маска: под нею таится родник души моей, никому не известный. Я бы рассказал вам всю мою жизнь, всю исповедь мою, но, зная доброту вашу, боюсь, чтоб грустный рассказ мой не расстроил вас в такие радостные дни, какие, вероятно, вас ждут. Вы теперь покойны насчет ее, и я, чтоб еще более утвердить вас в ваших убеждениях, повторю, что все сказанное мною под ракетами, была ложь и заранее придуманная уловка, чтоб удалить соперника, в котором я не подозревал таких благородных намерений... Я ничего не говорю о данном вами слове: вы вполне были бы правы, если б в самом деле нарушили его... Дай Бог вам счастья с нею, Иван Павлович. И если когда-нибудь будет

*такая деревенька, как вы мечтаете, и в ней Маша с дорогим для сердца потомством, вспомните когда-нибудь, гуляя прекрасным вечером, о том грустном товарище, который, полюбив вас с первого раза, часто, однако ж, волновал вашу душу ревностью. Прощайте, прощайте, дорогой мой Иван Павлович. Не забывайте меня; а я снова повлеку мои печальные дни с отчаяньем в душе и легкой насмешкой на лице... Надо иметь волю... Поцалуйте Машу и скажите ей, что я нисколько не желал ей зла...
Ваш Непреклонный.*

P. S. Если у вас родится сын, назовите его Дмитрием. Еще раз прощайте».

Под влиянием угрызений совести и некоторой степени самоуничижения, явившегося за ними, Дмитрий Александрович написал все это с искренним чувством теплоты, как бы умоляя сам себя о пощаде не без достоинства.

Васильков был глубоко тронут письмом.

«Бедный Непреклонный! — подумал он, — в самом деле он, может быть, много страдал и немудрено, что решился на все смотреть так

легко... Самая бледность лица его говорит, что он много жил».

И, задумчиво вздохнув, учитель обрадовался, что заря его собственной жизни была так чиста и спокойна, как бывает чиста заря на небе в утра красных июньских дней.

— Что ж это он прощается? — спросила Маша, прослушав письмо, — разве он едет в Москву? У них еще хлеб не убрали...

Через неделю Иван Павлович уехал в город и, обделав там кой-какие дела, вернулся в конце августа, на 28[-й] день. Маша только что проснулась; жмурясь от солнца и с неопи-санной веселостью на лице вышла она под ракетки навстречу молодому учителю и, обняв его, сказала:

— Здравствуйте, милый вы мой голубчик...
Здравствуйте, голубчик вы мой...

— Ах, Маша, Маша!.. — сумел только сказать Иван Павлович...

— Вы, верно, устали, голубчик мой; пойдемте. Я вас чайком напою... Батюшка в селе... Я одна здесь гуляю...

Васильков молча глядел на нее.

— Пойдемте, — сказала Маша, сияя радостью. — Будет стоять... сам устал небойсь! А я думала, что вы и не вернетесь; вчера даже как всплакнулось... Ей-Богу, думала, что вы только так посмеялись...

— Грех тебе, Маша! стыдно!.. Да куда ты идешь? Дай же еще с тобой поздороваться по-лучше.

— Господи, да я сама рада с вами хоть десять раз еще поздороваться...

И, смеясь, она снова обняла Ивана Павловича.

— Что ж? вещицы-то, барин, изволите, что ли, снять?.. — спросил мужик, который привез Василькова.

— Что тебе?

— Чемоданчик-то, да вот узелок?..

— Да ну, положи их тут; все возьмем. Ступай себе...

— Прощай, батюшка. Дай Бог тебе здоровья, — сказал мужик, удаляясь на своей телеге.

— Прощай, — ласково отвечал Иван Павлович, следуя за Машей в комнату.

На крыльце он был встречен запахом заки-

пающего самовара, особенно приятным на летнем воздухе.

Маша начала суетиться и готовить ему чай, а он сел на стул у стола, к которому она беспрестанно подходила то с стаканом, то с сахарницей, то с салфеткой, и всякий раз успевала подарить его или ласковым словом, или шуткой, или улыбкой, или поцалуем на лету.

Иван Павлович сидел, и в душе его воцарялось такое чистое, благородное спокойствие, такое блаженство, что он и сам не знал, как это так он живет в эту минуту, и почему его так наградила судьба. Целое утро пробыли они вдвоем, и разговорам у них конца не было. Только к обеду вернулся Михайло с самолюбивою радостью в глазах и не знал, как выразить свое почтение и свою любовь будущему зятю.

В следующее воскресенье, дня через три после приезда Ивана Павловича, была свадьба. День был прохладный, ясный, осенний. Непреклонный прислал им свою коляску. Иван Павлович упросил Михаила, чтоб не было никаких церемоний, никаких родственни-

ков, никаких празднеств.

Перед обедней Маша в простом белом кисейном платье, накинув на волосы шолковый алый платочек, вышла на крыльцо, чтоб сесть в коляску, у которой уже ждал ее Иван Павлович в новом коричневом сюртуке и пестром летнем галстуке.

Маша была простая девушка — и нарядом, и разговором простая, но в это свежее утро, когда она вышла к счастливому жениху на крыльцо, она была и стройнее всегдашнего, и цветущее лицо ее, и взор темно-серых глаз еще были лучше, потому что белое платье к ней шло, и никогда еще так мило не играл ветер концом ее алой косынки на густой черной косе. Легкое смущение при виде знакомого кучера, который молча и серьезно снял шляпу, когда она подошла к коляске, сделало ее еще привлекательнее. До конца обедни просидели они у попадьи, ожидая, чтоб народ разошелся из церкви. Их обвенчали только в присутствии двух-трех человек. Непреклонный поздравил их на паперти. Он опоздал к венцу, хотя добрая верховая лошадь его была вся взмылена, и сам он, запыхавшись, стоял

перед новобрачными; но он решился не жалеть своей лошади в этот день.

На возвратном пути, приглашенный обедать на хутор, он недолго галопировал около коляски. Как будто не желая стеснять молодых и вместе с тем думая внушить им, что ему необходимо закружиться в это утро, он пустился во весь опор по ровной дороге, которая извилисто бежала по пустошам, поросшим кустами, к Петровскому Хутору. Длинные волосы его летели назад, лицо было мрачно; но молодые ничего не замечали. Маша не видала, потому что ей почти все время застил кучер (пользуясь пустотою полей, она прилегала на плечо Ивана Павловича), а Иван Павлович, если б и видел что-нибудь, то, верно бы, ничего не понял.

Зато были сильно испуганы бабы, которые шли гуськом по стороне дороги. Одна из них врезалась в канаву и упала навзничь.

Я недавно видел Ивана Павловича. Он купил земельку около того города, где занимается преподаванием латинского языка, отпускает на вакационное время длинные кудри и кончает теперь трилогию во вкусе XVIII-го

столетия. В ней рассуждают: Агрикола, пасущий стадо, остроумный Урбан и милая Арета с кувшином молока на гречески обточенной головке. Мы узнаем знакомую сторку в декорациях трилогии: густая зелень леса, полдень с просветами листвы, храм с колоннадой, и даже Арета не забыла кувшина. Дело между ними идет о природной поэзии и нравственности. Маша немного побледнела, но я не нахожу, чтоб это ее портило. Иван Павлович, кажется, вполне согласен со мной, а маленький первенец — Митя (очень похожий на отца) пока доказывает только, что звезда Дмитрия Александровича Непреклонного не устала еще повиноваться его фантазиям.

Примечания

Впервые: Отечественные записки. 1855. Кн. 5.
Здесь по: К.Н. Леонтьев. Полное собрание сочинений и писем. Т.1. СПб., 2000. С. 86-164.

[^^^]